

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ И НОВГОРОД (1840-1847)

Примечания: к четвертой части – И Ю Твердохлебова; к пятой части – И. М. Белявской, Я. Е. Застенкера, Л. Р. Ланского, А М Малаховой, Г И Месяцовой, М. Я Полякова, И. Г. Птушкиной, Э. М. Цыпкиной.

ГЛАВА XXV

Диссонанс – Новый круг, – Отчаянный гегелизм. – В. Белинский, М. Бакунин и пр – Ссора с Белинским и мир – Новгородские споры с дамой – Круг Станкевича. В начале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов.

Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы и нашу весну... Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрип пошевной и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838, то нашу поездку 9 мая...

Не повторятся!

...На сколько ладов и как давно люди знают и твердят, что "жизни май цветет один раз и не больше", а все же июнь совершеннолетия, с своей страдной работой, с своим щебнем на дороге, берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет, а тут – любовь, найдено неизвестное, все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво, постороннее и тут не бьет: они даны друг другу, кругом хоть трава не расти! (3)

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться.

Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель, – вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца, – да вот и он сам, мой отец, состарившийся и сгорбившийся, но так же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. "Кто-то завтра читает лекции? когда репетиция? из университета зайду к Огареву"... Это 1833 год!

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И, несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокаивают их, они – открытый стол, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь – другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирали, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость; да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: "Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!" Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал (4) себе руку. Все это так, но ни

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Цезарь, ни Дон Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для бессмертия? Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или в знак памяти роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, business1... Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей – огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем сделанном мною отразились наши беседы, наши споры; , ночи, которые мы празднично бродили по улицам и полям или еще более празднично проводили за бокалом вина?

...Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино – но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и К(етчер) зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева недоставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился. Весть о его женитьбе испугала меня – все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу; он писал с восторгом и был счастлив, – ему я больше верил, но все же боялся. (5)

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора – помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу, но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия – молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

– На колени! – сказал Огарев, – и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее; я думал тогда, что это retenue2, но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны, но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетня в этой молодости?

Огарев возвратился в свое имение, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром – одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. "Как-то сладит она с этим?" – думал я. Много бед могло развиться из такой противоположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлечение – она была умна, она любила Огарева – и я надеялся.

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru литературный круг до(6)вольно льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых – и насильно увлекла Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и К(етчер), давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto<sup>1</sup>. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнутая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с К(етчером), который, будучи прав в фонде<sup>2</sup>, был постоянно неправ в форме, и восстановив против себя несколько человек, может слишком обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх – дружба или любовь, как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре, тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С К(етчером) она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела бледнее и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жесток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить, – вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie<sup>3</sup> раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил, ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) "полем сражения" и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угло(7)ватости – и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая, – но не мог ее разлюбить. Мы были свои – но он с печалью видел, что и мы ни одной, капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы Naturgewalta<sup>3</sup>, связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие с нами; он во всяком случае должен был изойти кровью, и, чувствуя это, он старался сохранить ее и нас, – судорожно не выпускал ни ее, ни наших рук, – а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!

Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток в своем неведении ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый своей беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями; вслед за испугом, который обдаёт человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться – какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирая пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет себе оправданий – и находит их другому. Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение.

Тогда я был далек от этого!

Переменяясь, продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше в какие-то пути, не могла в них идти, рвалась, падала – и не менялась. Чувствуя свое бессилие победить, она сгорала от досады и депи<sup>4</sup>, от ревности без любви. Ее растрепанные мысли, бессвязно взятые из романов Ж- Санд, из наших разговоров, никогда ни в чем не дошедшие до ясности, вели ее от одной нелепости к другой, к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность, к тому женскому освобождению, в силу которого они отрицают (8) из существующего и принятого, на выбор, что им не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрыв становился неминуем, но Огарев еще долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда на минуту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка, – и они расстались навсегда.

Во всем этом является один вопрос не совсем понятный. Каким образом то сильное симпатическое влияние, которое Огарев имел на все окружающее, которое увлекало посторонних в высшие сферы, в общие интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа? А между тем он любил ее страстно и положил больше силы и души, чтоб ее спасти, чем на все остальное; и она сама сначала любила его, в этом нет сомнения.

Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на одну женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка. В аудитории, в церкви, в клубе одинаковость стремлений, интересов идет вперед, во имя их люди встречаются там, стоит продолжать развитие. Огарева кружок состоял из прежних университетских товарищей, Молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше – общая ненависть. Те, для которых эта религия не состав-яла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись другие, а мысль и круг Жренли при этой свободной игре избирательного сродства Я общего, связующего убеждения.

Сближение с женщиной – дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко; (9) у них все случайно, вполнину уступает он, вполнину она; да если и не уступают – беды нет. С ужасом открывает, напротив, человек, преданный своей идее, что она чужда существу, так близко поставленному. Он принимается наскорю будить женщину, но большей частью только пугает или путает ее. Оторванная от преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение – заносчиво, самолюбиво, через пень-колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце – беспорядок, хаос., вожжи брошены, эгоизм разнуздан... А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории!

Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика.

Уж не оттого ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать – а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность?

Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости.

.Круг молодых людей – составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия – все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству – невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: "Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?"

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского (10) приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже и

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, - совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников - Станкевич.

Станкевич, тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их - сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял сней теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непонимания, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был "победный венок", выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений - за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они - сегодня, а мы - уже вчера, и требуя безусловного принятия "феноменологии" и "логики" Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях "Лопики", в двух "Эстетики", "Энциклопедии" и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении "перехватывающего духа", принимали за обиды мнения об "абсолютной личности и о ее по себе бытии". Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он; так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал "привратником Гегелевой философии" - если бы они знали, какие побоища и рато-вания возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали. (12)

ные и чисто практические; его артистический идеализм-ему шел, это был "победный венок", выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений - за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они – сегодня, а мы – уже вчера, и требуя безусловного принятия "феноменологии" и "логики" Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях "логики", в двух "эстетики", "энциклопедии" и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении "перехватывающего духа", принимали за обиды мнения об "абсолютной личности и о ее по себе бытии". Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он; так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал "привратником Гегелевой философии" – если бы они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали.

12

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения, ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления, молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык, они не переводили на русское, а перекладывали целиком да еще, для большей легости, оставляя все латинские слова *in crudo*, давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это "птичьим языком". Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: "конкретизирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоощущения духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте". Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.

Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для верных, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к зашифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна, понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии, Фейербах стал первый говорить человечественнее.

Механическая слепка немецкого церковно-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем – отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, "жизни мышь беготня", крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это (13) было то ученое понимание простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступающая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
"Гемюту"6 или к "трагическому в сердце"...

То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части "Фауста" (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как "Всемогущество божие" - "Атлас". Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер - поэт субъективный, но его субъективность объективна, и *vice versa* все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как (14) здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою "Феноменологию", когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи "о палаче и о смертной казни", напечатанной в Розенкранцевой биографии.

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так оказать, в мысль - становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике, - тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: "Все действительно разумно", была иначе высказанное начало достаточной причины и ответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: "Нет власти, как от бога". Но если все власти от бога и если существующий общественный (15) порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции - чистая таутология, но, таутология или нет - она прямо вела к признанию преобладающих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский - самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные, в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

- Знаете ли, что с вашей точки зрения, - сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, - вы можете доказать, что чудовищное самодержавие,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru под которым мы живем, разумно и должно существовать.

- Без всякого сомнения, - отвечал Белинский и прочел мне "Бородинскую годовщину" Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал "Бородинской годовщиной".

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт - толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость *ex ipso fonte bibere* и серьезно занялся Гегелем. Я ду(16)маю даже, что человек, не переживший "Феноменологии" Гегеля и "Противуречий общественной экономики" Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал - не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей, таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая "бранденбургские ворота". Философия Гегеля - алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована.

Так, как в математике - только там с большим правом - не возвращаются к определению пространства, движения, сил, а продолжают диалектическое развитие их свойств и законов; так и в формальном понимании философии, привыкнув однажды к началам, продолжают одни выводы. Новый человек, не забивший себя методой, обращающейся в привычку, именно за эти-то предания, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цепляется. Людям, давно занимающимся и, следовательно, не беспристрастным, кажется удивительным, как другие не понимают вещей "совершенно ясных".

Как не понять такую простую мысль, как, например, что "душа бессмертна, а что умирает одна личность", - мысль, так успешно развитая берлинским Михелетом в его книге. Или еще более простую истину, что безусловный дух есть личность, сознающая себя через мир, а между тем имеющая и свое собственное самопознание.

Все эти вещи казались до того легки нашим друзьям, они так улыбались "французским" возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал, и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского jargon.

По счастью, схоластика так же мало свойственна мне, как мистицизм, я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дело, спор с дамой привел меня к этому. (17)

В Новгороде, год спустя, познакомился я с одним генералом. Познакомился я с ним потому, что он всего меньше был похож на генерала.

В его доме было тяжело, в воздухе были слезы, тут, очевидно, прошла смерть. Седые волосы рано покрыли его голову, и добродушно-грустная улыбка больше выражала страданий, нежели морщины. Ему было лет пятьдесят. След судьбы, обрубившей живые ветви, еще яснее виднелся на бледном, худом лице его жены. У них было слишком тихо. Генерал занимался механикой, его жена по утрам давала французские уроки каким-то бедным девочкам; когда они уходили, она принималась читать, и один цветы, которых было много, напоминали иную, благоуханную, светлую жизнь, да еще игрушки в шкапе, - только ими никто не играл.

У них было трое детей, два года перед тем умер девятилетний мальчик, необыкновенно даровитый; через несколько месяцев умер другой ребенок от скарлатины; мать бросилась в деревню спасать последнее дитя переменной воздуха и через несколько дней воротилась; с ней в карете был гробик.



Жизнь их потеряла смысл, кончилась и продолжалась без нужды, без цели. Их существование удержалось сожалением друг о друге; одно утешение, доступное им, состояло в глубоком убеждении необходимости одного – для другого, для того, чтоб как-нибудь нести крест. Я мало видел больше гармонических браков, но уже это и не был брак, их связывала не любовь, а какое-то глубокое братство в несчастье, их судьба тесно затягивалась и держалась вместе тремя маленькими холодными ручонками и безнадежной пустотой около и впереди.

Осиротевшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений, она была обманута лестью религии человеческого сердцу. Для нее мистицизм был не шутка, не мечтательность, а опять-таки дети, и она защищала их, защищая свою религию. Но, как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу. Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь "Мапа", который сам мне рассказы(18)вал свое свидание с богом, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижем. Все они, большею частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.

На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Л. Д. Где я как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики – я не знаю. Вообще женское развитие – тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие, и чтение романов, глазки и слезы – и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла, – и перед вами Теруань де-Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках среди крамольной толпы солдат.

У Л. Д. все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд были ли иезуиты или кальвинисты так строино последовательны своему учению, как она.

Вместо того чтоб ненавидеть смерть, она, лишившись своих малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой полной апотеозы смерти – пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое, на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.

Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости – барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.

– Вы никогда не дойдете, – говорила она, – ни до личного бога, ни до бессмертия души никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их, – вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтоб отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией.

Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей. (19)

Надобно было, чтоб для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал, отчаянный поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной.

Доктор выходил из себя, бесился, тем больше что другими средствами не мог взять, находил воззрения Л. Д. женскими капризами, ссылаясь на Шеллинговы чтения об академическом учении и читал отрывки из Бурдаховой физиологии для доказательства, что в человеке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный Geist<sup>10</sup>.

Л. Д., давно прошедшая этими "задами" пантеизма, сбивала его и, улыбаясь,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его, и я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принял за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.

- Вы совершенно правы, - сказал я ей, - и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих вперед идущих предположений.

Ее -смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

- Жаль мне вас, а может, оно и к лучшему, вы в этом направлении долго не останетесь, в нем слишком пусто и тяжело. А вот, - прибавила она, улыбаясь, наш доктор, тот неизлечим, ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед.

Однако лицо ее было бледнее обыкновенного.

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев; он привез мне "Wesen des Christentums"<sup>11</sup> Фейер(20)баха, прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь коноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксаифа, не нужно нам облекать истину в мифы!

В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о "дилетантизме в науке", в которых, между прочим, отомстил и доктору.

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я - мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о "бородинской годовщине". Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

- Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? "Это автор статьи о бородинской годовщине?" - спросил его на ухо офицер. - "Да". - "Нет, покорно благодарю", - сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, - я горячо пожал руку офицеру и оказал ему: "Вы благородный человек, я вас уважаю..." Чего же вам больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi<sup>12</sup> - они с мужеством несчастья старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия. (21)

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отделились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести., Другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие - точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. "Москвитянин" в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева является выстрадавшее, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам – часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих: "Родные люди вот какие" в "Онегине", чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о "Тарантасе", о "Параше" Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между ценсурными отмелями, и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем – так катаньем, не антикритикой – так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие, задушевные мысли, их поэтические меч(22)тания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в "Отечественных записках", а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием "Европеец"; эти названия .всего лучше доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли "Отечественные записки"; тяжелый номер рвали из рук в руки. "Есть Белинского статья?" – "Есть", – и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как не бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: "Когда же к нам, у меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу".

Я в другой книге говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал прёсмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф, статские советники из образованных, Иокинф Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А К-домолчался там до (23) того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал "а балы в Тюльери целые rez-de-chaussee13 подтяжных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comite14, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым "позументом", сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! как его долго сердили и расстраивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом – не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прорываться, тут надобно было его видеть; он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно ценсурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, страдающий болезнью, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам, лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробежала по лицу его и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам...

Раз приходит он обедать к одному литератору на страстной неделе, подают постные блюда.

– Давно ли, – спрашивает он, – вы сделались так богомольны?

– Мы едим, – отвечает литератор, – постное просто-напросто для людей.

– Для людей? – спросил Белинский и побледнел. – Для людей? – повторил он и бросил свое место. – Где ваши люди? я им скажу, что они обмануты, всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения х. слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество и вы думаете, что вы (25) свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!

В числе закоснейших немцев из русских был один, магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, ой остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь *honnete et moderee*<sup>15</sup>. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

– Слышал ли ты, что этот изверг врет? у меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много, будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь – ну, утешь.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом "письме" Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

– Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

– Совсем нет, – отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор, я ему доказывал, что эпитеты "гнусный", "презрительный" – гнусны и презрительны относятся к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он (26) мне толковал о целостности народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский, он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:

– Вот они, высказались – инквизиторы, цензоры – на веревочке мысль водить... – и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

– Что за обидчивость такая! Палками бьют – не обижаемся, в Сибирь посылают – не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь – не смей говорить; речь – дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, – не обижаются .словами?

– В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту, скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

– А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове "гильотина" хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому сделается страшно, провести раз десять языком внутри, рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

– Несмотря на вашу нетерпимость, – сказал он наконец, – я уверен, что вы согласитесь с одним...

– Нет! – отвечал Белинский, – что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!  
(27)

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал.

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор равно

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года, он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

Так оканчивалась эта глава в 1854 году; с тех пор многое переменилось. Я стал гораздо ближе к тому времени, ближе увеличивающейся далью от здешних людей, приездом Огарева и двумя книгами: анненковской биографией- Станкевича и первыми частями сочинений Белинского. Из вдруг раскрывшегося окна в больничной палате дунуло свежим воздухом полей, молодым воздухом весны...

Переписка Станкевича прошла незаметно. Она появилась некстати. В конце 1857 РОССИЯ еще не приходила в себя после похорон Николая, ждала и надеялась; это худшее настроение для воспоминаний... но книга эта не пропадет. Она останется на убогом кладбище одним из редких памятников своего времени, по которым грамотный может прочесть, что тогда хоронилось безгласно. Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которая в сущности не перерывалась. По-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию - но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича.

Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными (28) и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей - а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются и если умирают на полдороге, то не всё умирает с ними. Это начальная ячейка, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались - кругом Станкевича, славянофилами, или нашим кружком.

Главная черта всех их - глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее - а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, не заметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, - нам кажется очень неосновательным.

Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью; но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы петровского разрыва с народом, они остались чужаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкие. Война 1812 года положила им предел, - старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении. Ставить в их число (29) людей вроде П. Ячаадаева было бы страшнейшей ошибкой.

Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гауное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против юдаизма – христианство – исполнено юдаического характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев неангличан.

Люди вообще отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будят их; но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя.

Поэт и художник в истинных своих (произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и сильнее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, чьих он. Гёте немец и в греческой "Ифигении" и в восточном "Диване". Поэты в самом деле, по римскому выражению, – "пророки"; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем.

Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью, – и каждое волокно, каждый намек, каждое пося(30)гательство, бродившее из поколенья в поколенья, те от" давая себе отчета, получило форму и язык.

Вероятно, никто "е думает, чтобы Англия времен Елизаветы, особенно большинство народа понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь не понимает отчетливо – да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает, становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой способный . на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира. Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить, чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой для француза.

Если аристократы прошлого века, систем этически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм.

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответам на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные – испуганные, слабые, потерянные – были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но "е становились сановитыми. Время их прошло.

Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа; для него ничего не переменилось, – ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. (31)

Между этой крышей и этой основой дети первые (приподняли голову, может оттого, что они не (подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Их остановило совершеннейшее противуречие слов учения с былями жизни вокруг. Учитель, книги, университет говорили одно – и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны – но с чем согласны предрешающие власти и денежные выгоды. Противуречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шпис-бюргеру<sup>16</sup>, а исхудалый от соревнования и честолюбия collegien французский уже en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position<sup>17</sup>.

Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали – не то чтоб объемистое воспитание – но довольно общее и гуманное; оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека – то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться – так толпа и делала, – или приостановиться и спросить себя: "Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?" Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других – время искусства и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распаденье на разные круги.

Так сложился, например, наш кружок и (встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. На(32)правление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, "о сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова – и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я уже не застал, – он был в Германии; но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык – все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича опоры нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал – и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, – стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм, – живые люди из русских к нему не способны.

Возле Станкевичева круга, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его – то впоследствии называли славянофилами. Славяне, приближаясь с противоположной стороны к тем же жизненным (33) вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами, естественно, должно былоделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским.



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Белинский, Бакунин – к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии.

Беля б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам "перешел бы к Хомякову или к нам,

В 1842 сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами. Об этой борьбе мы будем говорить в другом месте.

В заключение прибавлю несколько слов об элементах, из которых составился "руг Станкевича; это бросает своего рода луч на странные подземные потоки, в тиши подмывающие плотную кору русско-немецкого устройства.

Станкевич был сын богатого воронежского помещика, сначала воспитывался на всей барской воле, в деревне, потом его посылали в острогожское училище (и это чрезвычайно оригинально). Для хороших натур богатое и даже аристократическое воспитание очень хорошо. Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой ум преждевременной заботой, боязнью перед будущим, наконец оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет.

Станкевич развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и вместе с тем сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя с самого начала университетского курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять или, как немцы говорят, снимать противуречия, была основана на его художественной натуре. Потребность гармонии, стройности, наслаждения делает их снисходительными к средствам; чтоб не видать колодца, они покрывают его холстом. Холст не выдержит напора, но зияющая пропасть не мешает глазу. Этим путем немцы доходили до пантеистического квиетизма и опочили на нем; но такой даровитый русский, как Станкевич, не остался бы надолго "мирным". (34)

Это видно из первого вопроса, который невольно тревожит Станкевича тотчас после курса

Срочные занятия окончены; он предоставлен себе, его не ведут, но он не знает, что ему делать. Продолжать нечего было, кругом никто .и ничто ее авале живого человека. Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай куда хочешь, – есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно н с любовью, – это ученье.

И вот Станкевич натягивает ученые занятия, он думает, что его призвание быть историком, и он начинает заниматься Геродотом; из этого занятия, можно было предвидеть, ничего не выйдет.

Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит какая-то деятельность и куда его манит театр и близость к Европе; хотелось бы ему побывать почетным зрителем училища в Острогожске; он решается быть полезным "на этом скромном поприще", – это еще меньше Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог (новое доказательство, что около не было близких интересов). Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им<sup>18</sup>.

Но – и в этом его личная мощь – ему вообще нечасто нужно было прибегать к таким фикциям, он на каждом шагу встречал удивительных людей, умел их встречать, и каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу, или облегчил ношу.

В Воронеже Станкевич заходил иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он (35) встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стихи, и, краснея, решил их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич.

Бакунин, кончив курс в артиллерийском корпусе, был выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам просил, чтобы его перевели в армию; брошенный в какой-то потерянной белорусской деревне, с своим парком, Бакунин одичал, сделался нелюдимом, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник парка жалел его, но делать было нечего, он ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить. Получив отставку, Бакунин приехал в Москву; с этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва знал по-немецки. С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления он блуждал, без плана и компаса, в фантастических па-строениях и аутодидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Каиту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве – и "ому ни проповедовал ее потом! Нам и Белинскому, дамам и Прудону.

Но Белинский черпал столько же из самого источника; взгляд Станкевича на искусство, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на (36) жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича.

И в то же время ему приходилось служить опорой, быть старшим братом, ободрять Грановского, тихого, любящего, задумчивого и расхандрившегося тогда. Письма Станкевича к Грановскому изящны, прелестны – и как же его любил Грановский!

"Я еще не опомнился от первого удара, – писал Грановский вскоре после кончины Станкевича, – настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не верю в возможность потери – только иногда сжимается сердце. Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так много обязан. Его влияние на нас было бесконечно и благотворно".

...И сколько человек могли сказать это! – может, оказали!..

В станкевичевском кругу только он и Боткин были достаточные и совершенно обеспеченные люди. Другие представляли самый разнообразный пролетариат. Бакунину родные не давали ничего; Белинский – сын мелкого чиновника в Чембарах, исключенный из Московского университета "за слабые способности", жил скудной платой за статьи. Красов, окончив курс, как-то поехал в какую-то губернию к помещику на кондацию, но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел пешком назад в Москву, с котомкой за спиной, зимою, в обозе чьих-то крестьян. Вероятно, каждому из них отец с матерью, благословляя на жизнь, говорили – и кто осмелится упрекнуть их за это? – "Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себе дорогу, тебе неоткуда ждать наследства, нам тебе тоже нечего дать, устройвай сам свою судьбу да и об нас подумай". С другой стороны, вероятно, Станкевичу говорили о том, что он но всему может занять в обществе почетное место, что он призван, по богатству и рождению, играть роль – так, как Боткин всё в доме, начиная от старика отца до приказчиков, толковало словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться. (37)

Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие – свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, *humanitas*<sup>19</sup> – поглощает все.

И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не ограничивалось университетским курсом и двумя-тремя годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли; другие остались, какими были, до нынешнего дня. Бойцом и нищим пал, изнуренный трудом и страданиями, Белинский. Проповедуя науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру, Грановский. Боткин не сделался в самом деле купцом... Никто из них не отличился по службе.

То же самое в двух смежных кругах: в славянском и в нашем. Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремленья вечно юны?

Где? укажите - я бросаю смело перчатку - исключаю только на время одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, то есть не выпущу противника из статистики в историю.

Что такое был теоретический интерес и страсть истины и религии во времена таких мучеников разума и науки, как Бруно, Галилей и пр., мы знаем. Знаем и то, что была Франция энциклопедистов во второй половине XVIII века, - а далее? а далее - *sta, viator!*<sup>20</sup>

В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии, Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком обще выразился<sup>21</sup>; но далее я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признания. Возьмите (38) "*Les memoires dun enfant du siecle*"<sup>22</sup> и стихотворения Альфреда де Мюссе, восстановите ту Францию, которая просвечивает в записках Ж- Санда, в современной драме и повести, в процессах.

Но что же доказывает все это? - Много, но на первый случай то, что немецкой работы китайские башмаки, в которых Россию водят полтора года, натерли много мозолей, но, видно, костей не повредили, если всякий раз, когда удастся расправить члены, являются такие свежие и молодые силы. Это несколько не обеспечивает будущего, но делает его крайне возможным.

#### ГЛАВА XXVI

Предостережения - Герольдия - Канцелярия министра - III отделение - История будочника - Генерал Дубельт - Граф Бенкендорф - Ольга Александровна Жеребцова. - Вторая ссылка.

Как ни привольно было нам в Москве, но приходилось перебираться в Петербург. Отец мой требовал этого; граф Строгонов - министр внутренних дел велел меня зачислить по канцелярии министерства, и мы отправились туда в конце лета 1840 года.

Впрочем, я был в Петербурге две-три недели в декабре 1839.

Случилось это так. Когда с меня сняли надзор и я получил право выезжать "в резиденцию и в столицу", как выражался К. Аксаков, отец мой решительно предпочел древней столице невскую резиденцию. Граф Строгонов, попечитель, писал брату, и мне следовало явиться к нему. Но это не все. Я был представлен владимирским губернатором к чину коллежского асессора: отцу моему хотелось, чтоб я этот чин получил как можно скорее. В герольдии есть черед для губерний; черед этот идет черепашьим шагом, если нет особенных ходатайств. Они почти всегда есть. Цена им дорогая, потому что все представление можно пустить вне очередного порядка, но одного чиновника нельзя вырвать из списка. Поэтому на(39)добно платить за всех, "а то за что же остальные даром обойдут черед?" Обыкновенно чиновники делают складку и посылают депутата от себя; на этот раз издержки брал "а себя мой отец, и таким образом, несколько владимирских титулярных советников обязаны ему, что они месяцев восемь прежде стали асессорами.

Отправляя меня в Петербург хлопотать по этому делу, мой отец, простившись со мною, еще раз повторил:

- Бога ради, будь осторожен, бойся всех, от кондуктора в дилижансе до моих знакомых, к которым я даю тебе письма, не доверяйся никому. Петербург теперь не то, что был в наше время, там во всяком обществе наверное есть муха или две.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Tiens toi pour avert!23.

С этим эпитафием к петербургской жизни сел я в дилижанс первоначального заведения, то есть имеющего все недостатки, последовательно устраненные другими, и поехал

Приехав часов в девять вечером в Петербург, я взял извозчика и отправился на Исаакиевскую площадь, – с нее хотел я начать знакомство с Петербургом. Все было покрыто глубоким снегом, только Петр I на коне мрачно и грозно вырезывался среди ночной темноты на сером фоне24:

Чернея сквозь ночной туман,  
С поднятой гордо головою,  
Надменно выпрямив свой стан,  
Куда-то кажет вдаль рукою  
С коня могучий великан,  
А конь, притянутый уздою,  
Поднялся вверх с передних ног,  
Чтоб всадник дальше видеть мог  
("Юмор")

Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалость к Петру I – награда ли это ему?., или наказание? Четырнадцатое декабря 1825 было следствием дела, прерванного двадцать .первого января 1725 года. Пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра... (40)

Возвратившись в гостиницу, я нашел у себя одного родственника; поговоривши с ним о том, о сем, я, не думая, коснулся до Исаакиевской площади и до 14 декабря.

– Что дядюшка? – опросил меня родственник, – как вы оставили его?

– Слава богу, как всегда; он вам кланяется...

Родственник, не меняя нисколько лица, одними зрачками телеграфировал мне упрек, совет, предостережение; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться истопник клал дрова в печь; когда он затопил ее, причем сам отправлял должность раздувательных мехов, и сделал на полу лужу снегом, оттаявшим с его сапог, он взял кочергу длиною с казацкую пику и вышел.

Родственник мой принялся тогда меня упрекать, что я при истопнике коснулся такого скабрешного предмета, да еще по-русски. Уходя, он сказал мне вполголоса:

– Кстати, чтоб не забыть, тут ходит цирюльник в отель, он продает всякую дрянь, гребенки, порченую помаду; пожалуйста, будьте с ним осторожны, я уверен, что он в связях с полицией, – болтает всякий вздор. Когда я здесь стоял, я покупал у него пустяки, чтоб скорее отделаться.

– Для поощрения. Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармов?

– Смейтесь, смейтесь, вы скорее другого попадетесь; только что воротились из ссылки – за вами десять нянь приставят.

– В то время, как и семерых довольно, чтоб быть без глазу.

На другой день поехал я к чиновнику, занимавшемуся прежде делами моего отца; он был из малороссиян, говорил с вопиющим акцентом по-русски, вовсе не слушая, о чем речь, всему удивлялся, закрывая глаза и как-то по-мышинному приподнимая пухленькие лапки... Не вытерпел и он, и, видя, что я взял шляпу, отвел меня к

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru окошку, осмотрелся и сказал мне: "Уж это ви не погневайтесь, так по стародавнему знакомству с семейством вашего батюшки и их покойных братцев, ви, то есть насчет гистории, бившей с вами, не очень поговаривайте. Ну, помилуйте, сами обсудите, к чему это нужно, теперь все прошло, как дим – ви что-то молвили при моей кухарке, – чухна, кто ее знает, я даже так немножко очень испугався", (41)

"Приятный город", – подумал я, оставляя испуганного чиновника... Рыхлый снег валил хлопьями, мокро-холодный ветер пронимал до костей, рвал шляпу и шинель. Кучер, едва видя на шаг перед собой, щурясь от снегу и наклоняя голову, кричал: "Гись, гнсь!" Я вспомнил совет моего отца, вспомнил родственника, чиновника и того воробья-путешественника в сказке Ж. Санда, который спрашивал шолузамерзнувшего волка в Литве, зачем он живет в таком скверном климате? "Свобода, – отвечал волк, – заставляет забыть климат".

Кучер прав – "берегись, берегись!", и как мне хотелось поскорей уехать.

Я и то недолго остался в мой первый приезд. В три недели я все покончил и к Новому году прискакал назад во Владимир

Опытность, приобретенная мною в Вятке, послужила мне чрезвычайно в герольдии. Я знал уже, что герольдия – нечто вроде прежнего Сен-Джайля в Лондоне – вертеп официально признанных воров, которых никакая ревизия, никакая реформа изменить не может. Сен-Джайль для очистки взяли приступом, скупая дома и приравнивая их земле; то же следует сделать с герольдией к тому же она совершенно не нужна: какое-то паразитное место – служба служебного повышения, министерство табели о рангах, археологическое общество изыскания дворянских грамот, канцелярия в канцелярии. Само собою разумеется, что и злоупотребления там должны были быть второго порядка!

Поверенный моего отца привел ко мне длинного старика в мундирном фраке, которого каждая пуговица висела на нитках, нечистого и уже закусившего, несмотря на ранний час. Это был корректор из сенатской типографии; поправляя грамматические ошибки, он за кулисами помогал иным ошибкам разных обер-секретарей. Я в полчаса сговорился с ним, поторговавшись точно так, как бы речь шла о покупке лошади или мебели. Впрочем, он сам положительно отвечать не мог, бегал в сенат за инструкциями и, наконец, получивши их, просил "задаточку".

– Да сдержат ли они обещание?

– Нет, уж это позвольте, это не такие люди, этого никогда не бывает, чтоб, получивши благодарность, не исполнить долг чести, – ответил корректор до того обиженным тоном, что я счел нужным его смягчить легкой прибавочной благодарности.

– В герольдии-с, – заметил он, обезоруженный мною, – был прежде секретарь, удивительный человек, вы, может, слышали о нем, брал напропалую, и все с рук сходило. Раз какой-то провинциальный чиновник пришел в канцелярию потолковать о своем деле да, прощаясь, потихоньку из-под шляпы ему и подает серенькую бумажку.

– Да что у вас за секреты, – говорит ему секретарь, – помилуйте, точно любовную записку подаете, ну, серенькая, тем лучше, пусть другие просители видят, это их поощрит, когда они узнают, что двести рублей я взял, да зато дело обделал.

И, растянув ассигнацию, он ее сложил и сунул в жилетный карман.

Корректор был прав. Секретарь исполнил долг чести.

Я оставил Петербург с чувством очень близким к ненависти. А между тем делать было нечего, надобно было перебираться в неприязненный город.

Я недолго служил, всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего. Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком. Я не видал здесь пьяных чиновников, не видал, как берут двугривенники за справку, а что-то мне казалось, что под этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живет такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка, что мой столоначальник в Вятке казался мне больше человеком, чем они. Я

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru вспоминал, глядя на новых товарищей, как он раз, на пирушке у губернского землемера, выпивши, играл на гитаре плясовую и, наконец, не вытерпел, вскочил с гитарой и пустился вприсядку; ну, эти ничем не увлекаются, в них не кипит кровь, вино не вскружит им голову. В танцклассе где-нибудь с немочками они умеют пройти французскую кадрили, представить из себя разочарованных, сказать стих Тимофеева или Кукольника... дипломаты, аристократы и Манфреды. Жаль только, что министр Дашков не мог этих Чайльд-Гарольдов отучить в театре, в церкви, везде делать фрунт и кланяться. (43)

Петербуржцы смеются над костюмами в Москве, их оскорбляют венгерки и картузы, длинные волосы, гражданские усы. Москва действительно город штатский, несколько распущенный, не привыкший к дисциплине, но достоинство это или недостаток – это нерешенное дело. Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобразного, обязательная форма, внешний порядок – все это в высшей степени развито в самом – нечеловеческом состоянии людей – в казармах. Мундир и однообразие – страсть деспотизма. Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге, это доказывает незрелость нашего образования: наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок. В Париже только боятся быть одетым без вкуса, в Лондоне боятся только простуды, в Италии всякий одевается, как хочет. Если б показать эти батальоны одинаковых сертуков, плотно застегнутых, щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов.

Всякий раз делал я над собою усилие, входя в министерство. Начальник канцелярии К. фон Поль, геригутер, добродетельный и лимфатический уроженец с острова Даго, наводил какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отделений озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами, – по крайней мере просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет двадцать. В регистратуре был чиновник, тридцать третий год записывавший исходящие бумаги и печатавший пакеты.

Мое "упражнение в стиле" и здесь доставило мне некоторую льготу; испытав мою неспособность ко всему другому, начальник отделения поручил мне составление общего отчета по министерству из частных, губернских. Предусмотрительность начальства нашла нужным вперед объяснить некоторые будущие выводы, не оставляя их на произвол цифр и фактов. Так, например, в слегка набросанном плане отчета было оказано: "Из рассматривания числа и характера преступлений (ни число, ни характер еще не были известны) в. в. изволите усмотреть успехи народной нравственности и усиленное действие начальства с целью оную улучшить". (44)

Судьба и граф Бенкендорф спасли меня от участия в подложном отчете, это случилось так.

В первых числах декабря, часов в девять утром, Матвей сказал мне, что квартальный надзиратель желает меня видеть. Я не мог догадаться, что его привело ко мне, и велел просить. Квартальный показал мне клочок бумаги, на котором было написано, что он "пригласил меня в 10 часов утра в III отделение собств. е. в. канцелярии".

– Очень хорошо, – отвечал я, – это у Цепного моста?

– Не беспокойтесь, у меня внизу сани, я с вами поеду.

"Дело скверное", – подумал я, и сердце сильно сжалось.

Я взошел в спальню. Жена моя сидела с малюткой, который только что стал оправляться после долгой болезни.

– Что он хочет? – спросила она.

– Не знаю, какой-нибудь вздор, мне надобно съездить с ним... Ты не беспокойся.

Жена моя посмотрела на меня, "и чего не отвечала, только побледнела, как будто туча набежала на ее лицо, и подала мне малютку проститься.

Я испытал в эту минуту, на сколько тягостнее всякий удар семейному человеку, удар бьет не его одного, и он страдает за всех и невольно винит себя за их

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
страдания.

Переломить, подавить, скрыть это чувство можно; но надобно знать, чего это стоит; я вышел из дома с черной тоской. Не таков был я, отправляясь шесть лет перед тем с полицмейстером Миллером в Пречистенскую часть.

Проехали мы Цепной мост, Летний сад и завернули в бывший дом Кочубея; там во флигеле помещалась светская инквизиция, учрежденная Николаем; не всегда люди, входившие в задние ворота, перед которыми мы остановились, выходили из них, то есть, может, и выходили, но для того, чтоб потеряться в Сибири, погибнуть в Алексеевской равелине. Шли мы всякими дворами и двориками и дошли, наконец, до канцелярии. Несмотря на присутствие комиссара, жандарм нас не пустил, а вызвал чиновника, который, прочитав бумагу, оставил квартального в коридоре, а меня просил идти за ним. Он меня привел в директорскую комнату. За большим столом, (45) возле которого стояло несколько кресел, сидел один-одинехонек старик, худой, седой, с зловещим лицом. Он для важности дочитал какую-то бумагу, потом встал и подошел ко мне. На груди его была звезда, из этого я заключил, что это какой-нибудь корпусный командир шпионов.

- Видели вы генерала Дубельта?

- Нет.

Он помолчал, потом, не смотря мне в глаза, морщась и сводя бровями, спросил каким-то стертым голосом (голос этот мне ужасно напомнил -нервно-шипящие звуки Голицына junioга московской следственной комиссии):

- Вы, кажется, не очень давно получили разрешение приезжать в столицу?

- В прошедшем году. Старик покачал головой.

- Плохо вы воспользовались милостью государя. Вам, кажется, придется опять ехать в Вятку. Я смотрел на него с удивлением.

- Да-с, - продолжал он, - хорошо показываете вы признательность /правительству, возвратившему вас.

- Я совершенно ничего не понимаю, -сказал я, теряясь в догадках.

- Не понимаете? - это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того, чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, - нет! куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились; как вас опыт не научил? Почему вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь мерзавца<sup>25</sup>, который лучше не просит, как через минуту прийти сюда с доносом.

- Ежели вы можете мне объяснить, что все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

- Куда ведут?.. Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

- Слышал, - отвечал я пренаивно. (46)

- И, может, повторяли?

- Кажется, что повторял.

- С рассуждениями, я чай?

- Вероятно.

- С какими же рассуждениями? - Вот оно - склонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет, наверно, принято графом в соображение.

- Помилуйте, - сказал я, - какое тут сознание, об этой истории говорил весь

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

- Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами.

- Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я вы" думал это дело?

- В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.

- Вы меня просто страшаете, - отвечал я. - Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не опросив, правда или нет?

- Вы сами признались.

- Да как же записка была представлена и дело кончено прежде, чем вы со мной говорили?

- Прочтите сами.

Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам; такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России.

Я молчал. Мне показалось, что сам старик почувствовал, что дело очень нелепо и чрезвычайно глупо, так что он не нашел более нужным защищать его, и, тоже помолчав, спросил:

-- Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

- Женат, - отвечал я.

- Жаль, что это прежде мы не знали, впрочем, если что можно сделать, граф сделает, я ему передам наш разговор. Из Петербурга во всяком случае вас вышлют. (47)

Он посмотрел на меня. Я молчал, но чувствовал, что лицо горело, все, что я не мог высказать, все, задержанное внутри, можно было видеть в лице.

Старик опустил глаза, подумал и вдруг апатическим голосом, с притязанием на тонкую учтивость, сказал мне:

- Я не смею дольше задерживать вас; желаю душевно, - впрочем, дальнейшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, это чувство бесправия, бессилия, это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку.

Жену я застал в лихорадке, она с этого дня занемогла и, испуганная еще вечером, через несколько дней имела преждевременные роды. Ребенок умер через день. Едва через три или через четыре года оправилась она.

Говорят, что чувствительный pater familias<sup>26</sup> николай павлович плакал, когда умерла его дочь!..

И что это у них за страсть - подняты сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно пожар, трон рушится, царская фамилия гибнет, - и все это без всякой нужды! Поэзия жандармов, драматические упражнения сыщиков, роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия... опричники, стремные, гончие!

...Грустно сидели мы вечером того дня, в который я был в III отделении, за небольшим столом - малютка играл на нем своими игрушками, мы говорили мало; вдруг кто-то так рванул звонок, что мы поневоле вздрогнули. Матвей бросился



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru отворять дверь, и через секунду влетел в комнату жандармский офицер, гремя саблей, гремя шпорами, и начал отборными словами извиняться перед моей женой: "Он не мог думать, не подозревал, не предполагал, что дама, что дети, чрезвычайно неприятно..."

Жандармы – цвет учтивости, если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с фореиторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких ка(48)зарм, где офицер deso1e27 был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах.

Поль-Луи Курье уже заметил в свое время, что палачи и прокуроры становятся самыми вежливыми людьми. "Любезнейший палач, – пишет прокурор, – вы меня дружески одолжите, приняв на себя труд, если вас это не беспокоит, отрубить завтра утром голову такому-то". И палач торопится ответить, что "он считает себя счастливым, что такой безделицей может сделать приятное г. прокурору, и остается всегда готовый к его услугам – палач". А тот – третий, остается преданным без головы.

– Вас просит к себе генерал Дубельт.

– Когда?

– Помилуйте, теперь, сейчас, сию минуту.

– Матвей, дай шинель.

Я пожал руку жене – на лице у нее были пятны, рука горела. Что за спех, в десять часов вечера, заговор открыт, побег, драгоценная жизнь Николая Павловича в опасности? "Действительно, – подумал я, – я виноват перед будочником, чему было удивляться, что при этом правительстве какой-нибудь из его агентов прирезал двух-трех прохожих; будочники второй и третьей степени разве лучше своего товарища "а Синем мосту? А сам-то будочник будочников?"

Дубельт прислал за мной, чтоб мне сказать, что граф Бенкендорф требует меня завтра в восемь часов утра к себе для объявления мне высочайшей воли!

Дубельт – лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу – ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив.

Когда я взшел в его кабинет, он сидел в мундирном сертуке без эполет и, куря трубку, писал. Он в ту же (49) минуту встал и, прося меня сесть против него, начал следующей удивительной фразой:

– Граф Александр Христофорович доставил мне случай познакомиться с вами. Вы, кажется, видели Сахтынского сегодня утром?

– Видел.

– Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

– Я вам, генерал, скажу то, что сказал графу Сахтынскому, я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказывали, как я.

– Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница – я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть de dénigrer le gouvernement<sup>28</sup> – страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление отеческое, все делается как можно келейнее... Мы выбиваемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, устраивают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах. Не правда ли? ведь вы писали об этом?

- Я так мало придаю важности делу, что совсем не считаю нужным скрывать, что я писал об этом, и прибавлю к кому - к моему отцу.

- Разумеется, дело неважное; но вот оно до чего вас довело. Государь тотчас вспомнил вашу фамилию и что вы были в Вятке и велел вас отправить назад. А потому граф и поручил мне уведомить вас, чтоб вы завтра в восемь часов утра приехали к нему, он вам объявит высочайшую волю. (50)

- Итак, на том и останется, что я должен ехать в Вятку, с больной женой, с больным ребенком, по делу, о котором вы говорите, что оно не важно?..

- Да вы служите? - спросил меня Дубельт, пристально вглядываясь в пуговицы моего вицмундирного фрака.

- В канцелярии министра внутренних дел.

- Давно ли?

- Месяцев шесть.

- И все время в Петербурге?

- Все время.

- Я понятия не имел.

- Видите, - сказал я, улыбаясь, - как я себя скромно вел.

Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что я говорил в своей комнате, как думал и что писал отцу... Дело было в том, что я тогда только что начал сблизиться с петербургскими литераторами, печатать статьи, а главное, я был переведен из Владимира в Петербург графом Строгоновым без всякого участия тайной полиции и, приехавши в Петербург, не пошел являться ни к Дубельту, ни в III отделение, на что мне намекали хорошие люди.

- Помилуйте, - перебил меня Дубельт, - все сведения, собранные об вас, совершенно в вашу пользу, я еще вчера говорил с Жуковским, - дай бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отзывался.

- А все-таки в Вятку...

- Вот видите, ваше несчастье, что докладная записка была подана и что многих обстоятельств не было на виду. Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городам. Я переговорю с графом, он еще сегодня едет во дворец. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать; граф - человек ангельской доброты.

Я встал. Дубельт проводил меня до дверей кабинета. Тут я не вытерпел и, приостановившись, сказал ему:

- Я имею к вам, генерал, небольшую просьбу. Если вам меня нужно, не посылайте, пожалуйста, ни квартальных, ни жандармов, они пугают, шумят, особенно вечером. За что же больная жена моя будет больше всех наказана в деле будочника? (51)

- Ах, боже мой, как это неприятно, - возразил Дубельт. - Какие они все неловкие. Будьте уверены, что я не пошлю больше полицейского. Итак, до завтра; не забудьте: в восемь часов у графа; мы там увидимся.

Точно будто мы сговаривались вместе ехать к Смурову есть устрицы.

На другой день в восемь часов я был в приемной-зале Бенкендорфа. Я застал там человек пять-шесть просителев; мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам. В числе их была женщина, вся в трауре, с заплаканными глазами, она

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru сидела с бумагой, свернутой в трубочку, в руках; бумага дрожала, как осиновый лист. Шага три от нее стоял высокий, несколько согнувшийся старик, лет семидесяти, плешивый и пожелтевший, в темнозеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Он время от времени вздыхал, качал головой и шептал что-то себе под нос.

У окна сидел, развалиясь, какой-то "друг дома", лакей или дежурный чиновник. Он встал, когда я взшел, вглядываясь в его лицо, я узнал его, мне эту противную фигуру показывали в театре, это был один из главных уличных шпионов, помнится, по фамилии Фабр. Он спросил меня:

-- Вы с просьбой к графу?

- По его требованию.

- Ваша фамилия? Я назвал себя.

- Ах, - сказал он, меняя тон, как будто встретил старого знакомого, сделайте одолжение, не угодно ли сесть? Граф через четверть часа выйдет.

Как-то было страшно тихо и unheimlich<sup>29</sup> в зале, день плохо пробивался сквозь туман и замерзнувшие стекла; никто ничего не говорил. Адьютанты быстро пробежали взад и вперед, да жандарм, стоявший за дверями, гремел иногда своей сбруей, переступая с ноги на ногу. Подошло еще человека два просителей. Чиновник бегал каждого спрашивать зачем. Один из адъютантов подошел к нему и начал что-то рассказывать полушепотом, причем он придавал себе вид отчаянного повесы; веро<sup>(52)</sup>ятно, он рассказывал какие-нибудь мерзости, потому что они часто перерывали разговор лакейским смехом без звука, причем почтенный чиновник, показывая вид, что ему мочи нет, что он готов надорваться, повторял: "Перестаньте, ради бога, перестаньте, не могу больше".

Минут через пять явился Дубельт, расстегнутый по-домашнему- бросил взгляд на просителей, причем они "поклонились, и, издали увидя меня, сказал:

- Bonjour, m. N., votre affaire va parfaitement bien<sup>30</sup>, на хорошей дороге...

"Оставляют меня, что ли?" Я хотел было спросить, но, прежде чем успел вымолвить слово, Дубельт уже скрылся. Вслед за ним взшел какой-то генерал, вычищенный, убранный, затянутый, вытянутый, в белых штанах, в шарфе, - я не видывал лучшего генерала. Если когда-нибудь в Лондоне будет выставка генералов, так, как в Цинциннати теперь Baby-Exhibition<sup>31</sup>, то я советую послать именно его из Петербурга. Генерал подошел к той двери, из которой должен был выйти Бенкендорф, и замер в неподвижной вытяжке; я с большим любопытством рассматривал этот идеал унтер-офицера... ну, должно быть, солдат посек он на своем веку за шагистику; откуда берутся эти люди? Он родился для выкидывания артикула и для строя! С ним пришел, вероятно, его адъютант, тончайший корнет в мире, с неслыханно длинными ногами, белокурый, с крошечным беличьим лицом и с тем добродушным выражением, которое часто остается у матушкиных сынков, никогда ничему не учившихся или по крайней мере не выучившихся. Эта жимолость в мундире стояла в почтительном отдалении от образцового генерала.

Снова влетел Дубельт, этот раз приосанившись и застегнувшись. Он тотчас обратился к генералу и спросил, что ему нужно? Генерал правильно, как ординарцы говорят, когда являются к начальникам, отрапортовал:

- Вчерашний день от князь Александра Ивановича получил высочайшее повеление отправиться в действующую армию на Кавказ, счел обязанностью явиться перед отбытием к его сиятельству. (53)

Дубельт выслушал с религиозным вниманием эту речь и, наклоняясь несколько в знак уважения, вышел и через минуту возвратился.

- Граф, - сказал он генералу, - искренно жалеет, что не имеет времени принять ваше превосходительство. Он вас благодарит и поручил мне пожелать вам счастливого пути. - При этом Дубельт распростер руки, обнял и два раза коснулся щеки генерала своими усами.

Генерал отступил торжественным маршем, юноша с беличьим лицом и с ногами журавля

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru отправился за ним. Сцена эта испустила мне много горечи того дня. Генеральский фронт, прощение по доверенности и, наконец, лукавая морда Рейнеке-Фукса, целующего безмозглую голову его превосходительства, – все это было до того смешно, что я чуть-чуть удержался. Мне кажется, что Дубельт заметил это и с тех пор начал уважать меня.

Наконец двери отворились a deux battants<sup>32</sup>, и взошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим.

Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, – я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, – но и добра он не сделал, на это у него недоставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай.

Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством – и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничества католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями. . .

54

– До сведения государя императора, – сказал он мне, – дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как вы мало исправились, изволил (приказать вас отправить обратно в Вятку; но я, по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительства предоставлено назначить министру внутренних дел.

– Позвольте мне откровенно сказать, что даже в сию минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В тысяча восемьсот тридцать пятом году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был; теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!

Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь:

– Я вам объявляю монаршую волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете и что я вам скажу – это потерянные слова. Переменить теперь ничего нельзя, что будет потом, долею зависит от вас. А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей, так легко в третий раз вы, наверно, не отдаетесь.

Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, перерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготавливались к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром. И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути, – а человек этот отделяется общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столначальник положит какое-нибудь решение, чтоб сдать дело (55) в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится?

Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил:

– Ваше сиятельство, взойдите в мое положение.

– Что за мерзость, – закричал граф, – вы позорите ваши медали! – И полный

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человеческими!

Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал:

- Зачем это вы, в самом деле? - ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорф уехал к государю.

- Что же мне делать? - спросил я Дубельта.

- Выберите себе какой хотите город с министром внутренних дел, мы мешать не будем. Мы завтра все дело перешлем туда; я поздравляю вас, что так уладилось.

- Покорнейшие вас благодарю!

От Бенкендорфа я поехал в министерство. Директор наш, как я сказал, принадлежал к тому типу немцев, которые имеют в себе что-то лемуновское, долговязое, нерасторопное, тянущееся. У них мозг действует медленно, не сразу схватывает и долго работает, чтоб дойти до какого-нибудь заключения. Рассказ мой, по несчастью, предупредил сообщение из III отделения, он вовсе не ждал его и потому совершенно растерялся, говорил какие-то бессвязные вещи, сам заметил это и, чтоб поправиться, сказал мне: "Erlauben Sie mir deutsch zu spre-chen"<sup>33</sup> Может, грамматически речь его и вышла правильнее на немецком языке, но яснее и определеннее она не стала. Я заметил очень хорошо, что в нем боролись два чувства, он понял всю несправедливость дела, но считал обязанностью директора оправдать действие правительства; при этом он не хотел передо мной показать себя варваром, да и не забывал вражду, которая постоянно царствовала между министерством и тайной полицией. Стало быть, задача сама по себе выразить весь (56) этот сумбур была не легка. Он кончил признанием, что ничего не может сказать без министра, к которому и отправился.

Граф Строганов позвал меня, расспросил дело, выслушал все внимательно и сказал мне в заключение:

- Это чисто полицейская уловка - ну, да хорошо, и я, с своей стороны, им отвечу.

Я, право, думал, что он сейчас отправится к государю и объяснит ему дело, "о так далеко министры не ходят.

- Я получил, - продолжал он, - высочайшее повеление об вас, вот оно, вы видите, что мне предоставлено избрать место и употребить вас на службу. Куда вы хотите?

- В Тверь или в Новгород, - отвечал я.

- Разумеется... ну, а так как место зависит от меня и вам, вероятно, все равно, в который из этих городов я вас назначу, то я вам дам первую ваканцию советника губернского правления, то есть высшее место, которое вы по чину можете иметь. Шейте себе мундир с шитым воротником, - добавил он шутя.

Вот и отыгрался, только не в мою масть.

Через неделю Строгонов представил в сенат о назначении меня советником в Новгород.

А ведь пресмешно, сколько секретарей, ассессоров, уездных и губернских чиновников домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтоб получить это место; взятки были даны, святейшие обещания получены, и вдруг министр, исполняя высочайшую волю и в то же время делая отместку тайной полиции, наказывал меня этим повышением, бросал человеку под ноги, для позолоты пилюли, это место - предмет пламенных желаний и самолюбивых грез, - человеку, который его брал с твердым намерением бросить при первой возможности.

От Строгонова я поехал к одной даме; об этом знакомстве следует сказать (несколько слов.

Между рекомендательными письмами, которые мне дал мой отец, когда я ехал в Петербург, было одно, которое я десять раз брал в руки, переворачивал и прятал опять в стол, откладывая визит свой до другого дня. Письмо это было к семидесятилетней знатной, богатой даме; дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен; он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II, потом они встретились в Париже, вместе (57) ездили туда и сюда, наконец оба приехали домой на отдых, лет тридцать тому назад.

Я вообще не любил важных людей, особенно женщин, да еще к -тому же семидесятилетних; но отец мой спрашивал второй раз, был ли я у Ольги Александровны Жеребцовой? И я, наконец, решился проглотить эту пилюлю. Официант привел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую; мебель, обивка - все сдало цвет, все стояло, видно, давно на этих местах. На меня пахнуло домом княжны Мещерской; старость не меньше юности протаптывает свои следы на всем окружающем. Самоотверженно ждал я появления хозяйки, приготовляясь к скучным вопросам, к глухоте, к кашлю, к обвинениям нового поколения, а может, и к моральным поучениям.

Минут через пять взшла твердым шагом высокая старуха, с строгим лицом, носившим следы большой красоты; в ее осанке, поступи и жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум. Она проницательно осмотрела меня с головы до ног, подошла к дивану, отодвинула одним движением руки стол и сказала мне:

- Садитесь сюда на кресла, поближе ко мне, я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люблю его. Она развернула письмо и подала мне, говоря:

- Пожалуйста, прочтите мне, у меня болят глаза.

Письмо было писано по-французски, с разными комплиментами, с воспоминаниями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и, когда я кончил, сказала:

- Ум-то у него не стареет, все тот же; он очень был любезен и очень кистик<sup>34</sup>. А что, теперь все сидит в комнате, в халате, представляет больного? Я два года тому назад проезжала Москвой, была тогда у вашего батюшки, насилу, говорит, могу принять, разрушаюсь, а потом разговорился и забыл свои болезни. Все баловство; он немного старше меня, года два-три, да и то есть ли, а вот я и женщина, а все еще на ногах. Да, да, много воды утекло с тех времен, о которых ваш отец поминает. Ну, подумайте, мы с "им были из первых танцоров. Англезы тогда были в моде; вот я с Иваном Алексеевичем, бывало, и танцуем у покойной императрицы; можете вы (58) себе представить вашего батюшку в светло-голубом французском кафтане, в пудре и меня с фижмами и decoltee. С ним было очень приятно танцевать, il etait bel homme<sup>35</sup>, он был лучше вас, дайте-ка хорошенько на вас посмотреть, - да, точно, он был получше... Вы не сердитесь, в мои лета можно говорить правду. Да ведь вам и не до того, я думаю, ведь вы литератор, ученый. Ах, боже мой, кстати, расскажите мне, пожалуйста, что это с вами за история была? Батюшка ваш писал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым - ничего не сделал. За что это вас услали, они ведь не говорят, все у них secret d'Etat<sup>36</sup>.

В ее манере было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданию, мне было легко и свободно. Я отвечал полушутливо и полусерьезно и рассказал ей наше дело.

- Воюет с студентами, - заметила она, - все в голове одно - конспирации; ну, а те и рады подслуживаться; все пустяками занимаются. Людишки такие дрянные около него - откуда это он их набрал? - без роду и племени. Так, видите, mon cher conspirateur<sup>37</sup>, что же вам было тогда - лет шестнадцать?

- Ровно двадцать один год, - отвечал я, смеясь от души ее полнейшему презрению к нашей Политической деятельности, то есть к моей и Николаевой, - но зато я был старший.

- Четыре-пять студентов испугали, видите, tout le gouvernement<sup>38</sup> - срам какой.

Потолковавши в этом роде с полчаса, я встал, чтоб ехать.

- Постойте-ка, постойте-ка, - сказала мне Ольга Александровна еще более дружеским тоном, - я не кончила мою исповедь; а как это вы увезли свою невесту?

- Почему вы знаете?

- Э, батюшка, слухом свет полнится, - молодость, *des passions*<sup>39</sup>, я говорила тогда с вашим отцом, он еще сердился на вас, ну, да ведь умный человек, понял... благо, вы счастливо живете - чего еще? "Как же, гово(59)рит, приезжал в Москву против приказа, попался бы, ну, послали бы в крепость". Я ему на это и молвила: "Ну, да ведь не попался, так это надобно радоваться вам, а что пустяки городить да придумывать, что могло бы быть". - "Ну, вы всегда, говорит он мне, - были отважны и жили очертя голову". - "А что же, батюшка, оканчиваю не хуже других век", - ответила я ему. А это что уж такое; без денег оставил молодых! На что это похоже! "Ну, говорит, пошлю, пошлю, не сердитесь". Познакомьте меня с вашей супругой-то - а?

Я поблагодарил ее и сказал, что я приехал покамест один.

- Где же вы остановились?

- У Демута.

- И там обедаете?

- Иногда тал?, иногда у Дюме.

- На что же это по трактирам-то, дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать - приходите-ка, а я, право, очень рада, что познакомилась с вами; спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне, вы очень интересный молодой человек, хорошо понимаете вещи, даром что молоды, вот мы с вами и потолкуем о том, о сем, а то, знаете, с этими куртизанами<sup>40</sup> скучно - все одно: об дворе да кому орден дали - все пустое.

Тьер в одном томе истории Консулата довольно подробно и довольно верно рассказал умерщвление Павла. В его рассказе два раза упомянута одна женщина, сестра последнего фаворита Екатерины, графа .Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитого во время войны, страстная и деятельная натура, избалованная положением, одаренная необыкновенным умом и мужским характером, она сделалась средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла. У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством. Полиция Павла заподозрила ее наконец, и она, вовремя извещенная, может, самим Паленом, успела уехать за границу. Заговор был тогда готов, и она получила, танцуя на бале прусского короля, весть о том, что Павел убит. Вовсе не скрывая радости, она с восторгом (60) объявила новость всем находившимся в зале. Это до того скандализовало прусского короля, что он велел ее выслать в двадцать четыре часа из Берлина.

Она поехала в Англию. Блестящая, избалованная придворной жизнью и скупаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины в Лондоне и играет значительную роль в замкнутом и недоступном обществе английской аристократии. Принц Валлийский, то есть будущий король Георг IV, у ее ног, вскоре более... Пышно и шумно шли годы ее заграничного житья, но шли и срывали цветок за цветком.

Вместе с старостью началась для нее пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаний. Ее сын был убит под Бородиным, ее дочь умерла и оставила ей внуку, графиню Орлову. Старушка всякий год ездила в августе месяце из Петербурга в Можайск посетить могилу сына. Одиночество и несчастье не сломили ее сильного характера, а сделали его только угрюмее и угловатее. Точно дерево середь зимы, она сохранила линейный очерк своих ветвей, листья облетели, костливо зябли голые сучья, но тем яснее виднелся величавый рост, смелые размеры, и стержень, поседелый от инея, гордо и сумрачно выдерживал себя и не гнулся от всякого ветра и от всякой непогоды.

Ее длинная, полная движения жизнь, страшное богатство встреч, столкновений образовали в ней ее высокомерный, но далеко не лишенный печальной верности взгляд. У нее была своя философия, основанная на глубоком презрении к людям, которых она оставить все же не могла, по деятельному характеру.

- Вы их еще не знаете, - говаривала она мне, провожая киваньем головы разных

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru толстых и худых сенаторов и генералов, – а уж я довольно на них насмотрелась, меня не так легко провести, как они думают; мне двадцати лет не было, когда брат был в пущем фавёре, императрица меня очень ласкала и очень любила. Так, поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, наперерыв бросались в переднюю подать мне салоп или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел, меня бегали, как заразы, знаете, при сумасшедшем-то – и те же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни в ком и уехала за море. После моего возвращения бог посетил (61) меня большими несчастьями, только я ни от кого участия не видала; были два-три старых приятеля, те, точно, и остались. Ну, пришло новое царствование, Орлов, видите, в силе, то есть я не знаю, насколько это правда... так думают по крайней мере; знают, что он мой наследник, и внучка-то меня любит, ну, вот и пошла такая дружба – опять готовы подавать шубу и калоши. Ох! Знаю я их, да скучно иной раз одной сидеть, глаза болят, читать трудно, да и не всегда хочется, я их и пускаю, болтают всякий вздор, – развлечение, час, другой и пройдет...

Странная, оригинальная развалина другого века, окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права. Если она делила сатурналии "Екатерины и оргии Георга IV, то она же делила опасность заговорщиков при Павле.

Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведения дворцового огорода за все наше поколение. При Екатерине двор и гвардия в самом деле обнимали все образованное в России; больше или меньше это продолжалось до 1812 года. С тех пор русское общество сделало страшные успехи; война вызвала к сознанию, сознание – к 14 декабря, общество внутри раздвоилось – со стороны дворца остается не лучшее; казни и свирепые меры отдалили одних, новый тон отдалил других. Александр продолжал образованные традиции Екатерины, при Николае светски-аристократический тон заменяется сухим, формальным, дерзко деспотическим, с одной стороны, и беспрекословно покорным – с другой, смесь наполеоновской отрывистой и грубой манеры с чиновничьим бездушием. Новое общество, средоточие которого в Москве, быстро развилось.

Есть удивительная книга, которая поневоле приходит в голову, когда говоришь об Ольге Александровне. Это "Записки" княгини Дашковой, напечатанные лет двадцать тому назад в Лондоне. К этой книге приложены "Записки" двух сестер Вильмот, живших у Дашковой между 1805 и 1810 годами. Обе – ирландки, очень образованные и одаренные большим талантом наблюдения. Мне чрезвычайно хотелось бы, чтоб их письма и "Записки" были известны у нас. (62)

Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недоброжелательных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество независимых. Тогдашние львы были капризные олигархи: граф А. Г. Орлов, Остерман – "общество теней", – как говорит miss Willmot<sup>41</sup>, общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды я пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла. Московские львы с 1825 года были: Пушкин, М. Орлов, Чаадаев, Ермолов. Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы "в чужих брильянтах", кавалеры не смея садиться без разрешения; перед нами графская дворня танцевала – в маскарадных платьях. Сорок лет спустя я видел то же общество, толпившееся около кафедры одной из аудиторий Московского университета; дочери дам в чужих камнях, сыновья людей, не смевших сесть, с страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством.

Вот этого-то общества, которое съезжалось со всех сторон Москвы и теснилось около трибуны, на которой молодой воин науки вел серьезную речь и пророчил былым, этого общества не подозревала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мне потому, что я был первой образчик мира, неизвестного ей; ее удивил мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей и за то!

Я мог бы написать целый том анекдотов, слышанных мною от Ольги Александровны: с кем и кем она ни была в сношениях, от графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Каннинга, и притом она смотрела на всех независимо, по-своему и очень



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru оригинально. Огра(63)ничусь одним небольшим случаем, который постараюсь передать ее собственными словами.

Она жила на Морской. Раз как-то шел полк с музыкой по улице, Ольга Александровна подошла к окну и, глядя на солдат, сказала мне:

- У меня дача есть недалеко от Гатчины, летом иногда я езжу туда отдохнуть. Перед домом я велела сделать большой сквер, знаете, эдак на английский манер, покрытый дерном. В запрошлый год приезжаю я туда; представьте себе - часов в шесть утром слышу я страшный треск барабанов, лежу ни живая, ни мертвая в постели; все ближе да ближе; звоню, прибежала моя калмычка. "Что, мать моя, это случилось? - спрашиваю я, - шум какой?" - "Да это, говорит, Михаил Павлович изволит солдат учить". - "Где это?" - "На нашем дворе". - Понравился сквер - гладко и зелено. Представьте себе, дама живет, старуха, больная! - а он в шесть часов в барабан. Ну, думаю, это - пустяки. "Позови дворецкого". Пришел дворецкий; я ему говорю: "Ты сейчас вели заложить тележку да поезжай в Петербург и найми сколько найдешь белорусов, да чтоб завтра и начали копать пруд". Ну, думаю, авось, навального42 учения не дадут под моими окнами. Все это невоспитанные люди!

...Естественно, что я прямо от графа Строгонова поехал к Ольге Александровне и рассказал ей все случившееся.

- Господи, какие глупости, от часу не легче, - заметила она, выслушавши меня. - Как это можно с фамилией тащиться в ссылку из таких пустяков. Дайте я переговорю с Орловым, я редко его о чем-нибудь прошу, они все не любят этого; ну, да иной раз может же сделать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька через два, я вам ответ сообщу.

Через день утром она прислала за мной. Я застал у нее несколько человек гостей. Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика, это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение. (64)

Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольге Александровне, сказал:

- Я вам привез вчерашний рескрипт князю Петру Михайловичу, может, вы не изволили еще читать?

Слышала ли она, или нет, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки и, морщась, с страшными усилиями прочла: "Кня-зь, Пе-тр Ми-хайло-вич!.."

- Что вы это мне даете?.. А?., это не ко мне?

- Я вам докладывал-с, это рескрипт...

- Боже мой, у меня глаза болят, я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать.

- Позвольте, я прочту... я, право, не подумал.

- И, полноте, что трудиться понапрасну, какое мне дело до их переписки; доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята.

Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие впросак, и положил рескрипт в карман.

Видя, что Ольга Александровна в дурном расположении духа и в очень воинственном, гости один за другим откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мне:

- Я просила вас сюда зайти, чтоб сказать вам, что я на старости лет дурой сделалась; наобещала вам, да ничего и не сделала; не спросясь броду-то, и не надобно соваться в воду, знаете, по мужицкой пословице. Говорила вчера с Орловым об вашем деле, и не ждите ничего...

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
В это время официант доложил, что графиня Орлова приехала.

- Ну, это ничего, свои люди, сейчас доскажу.

Графиня, красивая женщина и еще в цвете лет, подошла к руке и осведомилась о здоровье, на что Ольга Александровна отвечала, что чувствует себя очень дурно; потом, назвав меня, прибавила ей:

- Ну, сядь, сядь, друг мой. Что детки, здоровы?

- Здоровы.

- Ну, слава богу; извини меня, я вот рассказываю о вчерашнем. Так вот, видите, я говорю ее мужу-то: "что бы тебе сказать государю, ну, как это пустяки такие делают?" куда ты! руками и ногами уперся. (65)

"Это, говорит, по части Бенкендорфа; с ним, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу, он не любит, да у нас это и не заведено". - "Что же это за чудо, - говорю я ему, - поговорить с Бенкендорфом? Я это и сама умею. Да и он-то что уж из ума выжил, сам не знает, что делает, все актриски на уме, кажется, уж и не под лета волочиться; а тут какой-нибудь секретаришка у него делает доносы всякие, а он и подает. Что же он сделает? Нет, уж ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебе просить Бенкендорфа, он же все и напакостил". - "У нас, говорит, уж так заведено", - и пошел мне тут рассказывать... Ну! вижу, что он просто боится идти к государю... "что он у вас это, зверь, что ли, какой, что подойти страшно, и как же всякий день вы его пять раз видите?" - молвила я, да так и махнула рукой, - поди с ними, толкуй. Посмотрите, - прибавила она, указывая мне на портрет Орлова, - экой бравый представлен какой, а боится слово сказать!

Вместо портрета я не мог удержаться, чтоб не посмотреть на графиню Орлову; положение ее было не из самых приятных. Она сидела, улыбаясь, и иногда взглядывала "а меня, как бы говоря: лета имеют свои права, старушка раздражена; но, встречая мой взгляд, не подтверждавший того, она делала вид, будто не замечает меня. В речь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно, у старухи разгорелись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтоб вихрь пронесся через голову.

- Ведь это, чай, у вас там, где вы это были, в этой в Вологде, писаря думают: "Граф Орлов - случайный человек, в силе"... Все это вздор, это подчиненные его небось распускают слух. Все они не имеют никакого влияния; они не так себя держат и не на такой ноге, чтоб иметь влияние... Вы уже меня простите, взялась не за свое дело; знаете, что я вам посоветую? Что вам в Новгород ездить! Поезжайте лучше в Одессу, подальше от них, и город почти иностранный, да и Воронцов, если не испортился, человек другого "режиму".

Доверие к Воронцову, который тогда был в Петербурге и всякий день ездил к Ольге Александровне, не (66) вполне оправдалось; он хотел меня взять с собой в Одессу, если Бенкендорф изъявит согласие.

...Между тем прошли месяцы, прошла и зима; никто мне не напоминал об отъезде, меня забыли, и я уже перестал быть *sur le qui vive*<sup>43</sup> особенно после следующей встречи. Вологодский военный губернатор Болговский был тогда в Петербурге, очень короткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда. Он участвовал в убийстве Павла, будучи молодым семеновским офицером, и потом был замешан в непонятное и необъясненное дело Сперанского в 1812 году. Он был тогда полковником в действующей армии, его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк. Раз весной прихожу я к нему: спиною к дверям в больших креслах сидел какой-то генерал, мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет.

- Позвольте мне представить, - сказал Болговский, и тут я разглядел Дубельта.

- Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича, сказал я, улыбаясь.

- Вы скоро едете в Новгород? - спросил он меня.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом.

- Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам, я вас просто так спросил. Мы вас передали с рук на руки графу Строганову и не очень торопим, как видите, сверх того, такая законная причина, как болезнь вашей супруги... (Учтивейший в мире человек!)

Наконец, в начале июня я получил сенатский указ об утверждении меня советником новгородского губернского правления. Граф Строганов думал, что пора отправляться, и я явился около 1 июля в богем и св. Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова, против самого того кургана, откуда волтерианцы XII столетия бросили в реку чудотворную статую Перуна. (67)

## ГЛАВА XXVII

Губернское правление. - Я у себя под надзором. - Духоборцы и Павел. Отечественная власть помещиков и помещиц. - Граф Аракчеев и военные поселения. Каннибальское следствие. - Отставка.

Перед моим отъездом граф Строганов сказал мне, что новгородский военный губернатор Эльпидифор Антиохович Зуров в Петербурге, что он говорил ему о моем назначении, и советовал съездить к нему. Я нашел в нем довольно простого и добродушного генерала очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет. Мы поговорили с ним с полчаса, он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались.

Приехавши в Новгород, я отправился к нему - перемена декораций была удивительна. В Петербурге губернатор был в гостях, здесь - дома; он даже ростом, казалось мне, был побольше в Новгороде. Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что он не терпит, чтоб советники подавали голос или оставались бы письменно при своем мнении, что это задерживает дела, что если что не так, то можно переговорить, а как на мнения пойдут, то тот или другой должен выйти в отставку. Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка - единственная цель моей службы, и прибавил, что пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений.

Разговора этого было совершенно достаточно для обоих. Выходя от него, я решился не сближаться с ним. Сколько я мог заметить, впечатление, произведенное мною на губернатора, было в том же роде, как то, которое он произвел на меня, то есть мы настолько терпеть не могли друг друга, насколько это возможно было при таком недавнем и поверхностном знакомстве.

Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные. Читать бумаги по всем отделениям было решительно невозможно, надобно было подписывать на веру. Губернатор, последовательный своему мнению, что советник никогда не должен советоваться, подписывал, противно смыслу и закону, первый после советника того отделения, по которому было дело. Лично для меня это было превосходно, в его подписи я находил некоторую гарантию, потому что он делил ответственность, и потому еще, что он часто, с особенным выражением, говорил о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей других советников, они мало успокаивали. Люди эти были закаленные, старые писцы, дослужившиеся десятками лет до советничества, жили они одной службой, то есть одними взятками. Пенять на это нечего; советник, помнится, получал тысячу двести рублей ассигнациями в год; семейному человеку продовольствоваться этим невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни в дележе общих добыч, ни сам грабить, они стали на меня смотреть как на непрошеного гостя и опасного свидетеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядели, что между мной и губернатором дружба была очень умеренная. Друг друга они берегли и предостерегали, до меня им дела не было.

К тому же мои почтенные сослуживцы не боялись больших денежных взысканий и начетов, потому что у них ничего не было. Они могли рисковать, и тем больше, чем важнее было дело; будет ли начет в пятьсот рублей или в пятьсот тысяч, для них было все равно. Доля жалованья шла, в случае начета, на уплату казне и могла длиться двести, триста лет, если б чиновник длился так долго. Обыкновенно или

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru чиновник умирал, или государь- и тогда наследник на радостях прощал долги. Такие манифесты являются часто и при жизни того же государя, по поводу рождения, совершеннолетия и всякой всячины; они на них считали. У меня же, напротив, захватили бы ту часть имения и тот капитал, который отец мой отделил мне.

Если б я мог положиться на своих столоначальников, дело было бы легче. Я сделал многое для того, чтоб привязать их, обращался учтиво, помогал им денежной довел только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись советников, которые обращались с ними, как с мальчишками, и стали вполпьяна (69) приходиться на службу. Это были беднейшие люди, без всякого образования, без всяких надежд; вся поэтическая сторона их существования ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отделению, стало быть, приходилось тоже быть настоюще.

Сначала губернатор мне дал IV отделение, - тут откупные дела и всякие денежные. Я просил его переменить, он не хотел, говорил, что не имеет права переменить без воли другого советника. Я в присутствии губернатора спросил советника II отделения, он согласился, и мы поменялись. Новое отделение было меньше заманчиво; там были паспорта, всякие циркуляры, дела о злоупотреблении помещичьей власти, о раскольниках, фальшивых монетчиках и людях, находящихся под полицейским надзором.

Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят<sup>44</sup>, а между тем это сушая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера о самом себе как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицейстер, из учтивости, в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: "Занимается государственной службой". Вот до каких геркулесовских столбов безумия можно доправиться, имея две-три полиции, враждебные друг другу, канцелярские формы вместо законов и фельдфебельские понятия вместо правительственного ума.

Нелепость эта напоминает мне случай, бывший в Тобольске несколько лет тому назад. Гражданский губернатор был в ссоре с виц-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Виц-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов, он сам составлял с большим трудом свои язвительные ответы и, разумеется, целью своей - жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург, виц-губернатор занял его должность и в качестве гу(70)бернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю отвечать на нее, подписал ответ и, получив его как виц-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжениями строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью.

С полгода вытянул я ляжку в губернском правлении, тяжело было и крайне скучно. Всякий день в одиннадцать часов утра надевал я мундир, прицеплял статскую шпажонку и являлся в присутствие. В двенадцать приходил военный губернатор; не обращая никакого внимания на советников, он шел прямо в угол и там ставил свою саблю, потом, посмотревши в окно и поправив волосы, он подходил к своим креслам и кланялся присутствующим. Едва вахмистр с страшными седыми усами, стоявшими перпендикулярно к губам, торжественно отворял дверь и брэнчанье сабли становилось слышно в канцелярии, советники вставали и оставались, стоя в согбенном положении, до тех пор, пока губернатор кланялся. Одно из первых действий оппозиции с моей стороны состояло в том, что я не принимал участия в этом соборном восстании и благочестивом ожидании, а спокойно сидел и кланялся ему тогда, когда он кланялся нам.

.Больших прений, горячих рассуждений не было; редко случалось, чтоб советник спрашивал предварительно мнения губернатора, еще реже обращался губернатор к советникам с деловым вопросом. Перед каждым лежал ворох бумаги, и каждый писал свое имя, - это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изречение Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердием и занимался делами насколько было нужно, чтоб не получить замечания или не попасть в беду. Но в моем отделении было два рода дел, на которые я не считал себя вправе смотреть так поверхностно, это были дела о раскольниках и злоупотреблении помещичьей власти.

У нас раскольников не постоянно гонят, так, вдруг найдет что-то на синод или на

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru министерство внутренних дел, они и сделают набег на какой-нибудь скит, на какую-нибудь общину, ограбят ее и опять затихнут. Раскольники обыкновенно имеют смысленных агентов в Петербурге, они предупреждают оттуда об опасности, (71) остальные тотчас собирают деньги, прячут книги и образа, поят православного попа, поят православного исправника, дают выкуп; тем дело и кончается лет на десять.

В Новгородской губернии в царствование Екатерины было много духоборцев<sup>45</sup>. Их начальник, старый ямской голова, чуть ли не в Зайцеве, пользовался огромным почетом. Когда Павел ехал короноваться в Москву, он велел позвать к себе старика – вероятно, с целью обратить его. Духоборцы, как квекеры, не снимают шапки – л покрытой головой взшел седой старец к гатчинскому императору. Этого он вынести не мог. Мелкая и щепетильная обидчивость особенно поразительна в Павле и во всех его сыновьях, кроме Александра; имея в руках дикую власть, они не имеют даже того звериного сознания силы, которое удерживает большую собаку от нападений на маленькую.

– Перед кем ты стоишь в шапке? – закричал Павел, отдуваясь и со всеми признаками бешеной ярости. – Ты знаешь меня?

– Знаю, – отвечал спокойно раскольник, – ты Павел Петрович.

– В цепи его, в каторжную работу, в рудники – продолжал рыцарственный Павел.

Старика схватили, и император велел заечь с четырех концов село, а жителей выслать в Сибирь на поселение. На следующей станции кто-то из его приближенных бросился к его ногам и сказал ему, что он осмелился приостановить исполнение высочайшей воли и ждет, чтоб он повторил ее. Павел несколько отрезвел и понял, что странно рекомендоваться народу, выжигая селения и ссылая без суда в рудники. Он велел синоду разобрать дело крестьян, а старика сослать на пожизненное заточение в Спасо-Евфимьевский монастырь; он думал, что православные монахи домучат его лучше каторжной работы; но он забыл, что наши монахи не только православные, но люди, любящие деньги и водку, а раскольники водки не пьют и денег не жалеют.

Старик прослыл у духоборцев святым; со всех концов России ходили духоборцы на поклонение к нему, ценою золота покупали они к нему доступ. Старик си(72)дел в своей келье, одетый весь в белом, – его друзья обили полотном стены и потолок. После его смерти они выпросили дозволение схоронить его тело с родными и торжественно пронесли его на руках от Владимира до Новгородской губернии. Одни духоборцы знают, где он схоронен; они уверены, что он при жизни имел уже дар делать чудеса и что его тело нетленно.

Я все это слышал долею от владимирского губернатора И. Э. Куруты, долею от ямщиков в Новгороде и, наконец, от пососника в Спасо-Евфимьевском монастыре. Теперь в этом монастыре нет больше политических арестантов, хотя тюрьма и наполнена разными попами, церковниками, непокорными сыновьями, на которых жаловались родители, и проч. Архимандрит, плечистый, высокий мужчина, в меховой шапке, показывал нам тюремный двор. Когда он взшел, унтер-офицер с ружьем подошел к нему и рапортовал: "Вашему преосвященству честь имею донести, что по тюремному замку все обстоит благополучно, арестантов столько-то". Архимандрит в ответ благословил его, – что за путаница!

Дела о раскольниках были такого рода, что всего лучше было их совсем не подымать вновь, я их просмотрел и оставил в покое. Напротив, дела о злоупотреблении помещичьей власти следовало сильно перетряхнуть; я сделал все, что мог, и одержал несколько побед на этом вязком поприще, освободил от преследования одну молодую девушку и отдал под опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.

Какая-то барыня держала у себя горничную, не имея на нее никаких документов, горничная просила разобрать ее права на вольность. Мой предшественник благоразумно придумал до решения дела оставить ее у помещицы в полном повинновении. Мне следовало подписать; я обратился к губернатору и заметил ему, что незавидна будет судьба девушки у ее барыни после того, как она подавала на нее просьбу.

– Что же с ней делать?

- Содержать в части.
- На чей счет?
- На счет помещицы, если дело кончится против нее. (73)
- А если нет?

По счастью, в это время взошел губернский прокурор. Прокурор по общественному положению, по служебным отношениям, по пуговицам на мундире должен быть врагом губернатора, по крайней мере во всем перечить ему. Я нарочно при нем продолжал разговор; губернатор начал сердиться, говорил, что все дело не стоит трех слов. Прокурору было совершенно все равно, что будет и как будет с просительницей, но он тотчас взял мою сторону и привел десять разных пунктов из свода законов. Губернатор, которому, в сущности, еще больше было все равно, сказал мне, насмешливо улыбаясь:

- Тут выход один: или к барыне, или в острог.
- Разумеется, лучше в острог, - заметил я.
- Будет сообразнее с смыслом, изображенным в своде законов, - заметил прокурор.
- Пусть будет по-вашему, - сказал, еще более смеясь, губернатор, услужили вы вашей протее; как посидит в тюрьме несколько месяцев, поблагодарит вас.

Я не продолжал прения - цель моя была спасти девушку от домашних преследований; помнится, месяца через два ее выпустили совсем на волю.

Между нерешенными делами моего отделения была сложная и длившаяся несколько лет переписка о буйстве и всяких злодействах в своем именье отставного морского офицера Струговщикова. Дело началось по просьбе его матери, потом крестьяне жаловались. С матерью он как-то поладил, а крестьян сам обвинил в намерении его убить, не приводя, впрочем, никаких серьезных доказательств. Между тем из показаний его матери и дворовых людей видно было, что человек этот делал всевозможные неистовства. Больше года дело это спало сном праведных; справками и ненужными переписками можно всегда затянуть дело и потом, почислив решенным, сдать в архив. Надобно было сделать представление в сенат, чтоб его отдали под опеку, но для этого необходим отзыв дворянского предводителя. Предводители обыкновенно отвечают уклончиво, не желая потерять избирательный голос. Пустить дело в ход совершенно зависело от моей воли, но надобен был *coup de grace* предводителя. (74)

Новгородский предводитель, милиционерный<sup>47</sup> дворянин, с владимирской медалью, встречаясь со мной, чтоб заявить начитанность, говорил книжным языком докарамзинского периода; указывая раз на памятник, который новгородское дворянство воздвигнуло самому себе в награду за патриотизм в 1812 году, он как-то с чувством отзывался о, так сказать, трудной, священной и тем не менее лестной обязанности предводителя.

Все это было в мою пользу.

Предводитель приехал в губернское правление для свидетельства в сумасшествии какого-то церковника; после того, как все председатели всех палат истожили весь запас глупых вопросов, по которым сумасшедший мог заключить об них, что и они яе совсем в своем уме, и церковника возвели окончательно в должность безумного, я отвел предводителя в сторону и рассказал ему дело. Предводитель жал плечами, показывал вид негодования, ужаса и кончил тем, что отозвался об морском офицере, как об отъявленном негодяе, "кладущем тень на благородное общество новгородского дворянства".

- Вероятно, - сказал я, - вы так и ответите письменно, если мы вас спросим?

Предводитель, взятый врасплох, обещал отвечать по совести, прибавив, что "честь и правдивость - беспременные атрибуты росейского дворянства".

Сомневаясь немного в беспременности этих атрибутов, я таки пустил дело в ход;

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru предводитель сдержал слово. Дело пошло в сенат, и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда в мое отделение был передан сенатский указ, назначавший опеку над именем моряка и отдававший его под надзор полиции. Моряк был уверен, что дело кончено, и, как громом пораженный, явился после указа в Новгород. Ему тотчас сказали, как что было; яростный офицер собирался напасть на меня из-за угла, подкупить бурлаков и сделать засаду, но, непривычный к сухопутным кампаниям, мирно скрылся в какой-то уездный город.

По несчастию, "атрибут" зверства, разврата и неистовства с дворовыми и крестьянами является "бесприменнее" правдивости и чести у нашего дворянства., Конечно, небольшая кучка образованных помещиков не (75) дерутся с утра до ночи с своими людьми, не секут всякий день, да и то между ними бывают "Пеночкины", остальные недалеко ушли еще от Салтычихи и американских плантаторов.

Роясь в делах, я нашел переписку псковского губернского правления о какой-то помещице Ярыжкиной. Она засекала двух горничных до смерти, попала под суд за третью и была почти совсем оправдана уголовной палатой, основавшей, между прочим, свое решение на том, что третья горничная не умерла. Женщина эта выдумывала удивительнейшие наказания – била утюгом, сучковатыми палками, вальком.

Не знаю, что сделала горничная, о которой идет речь, но барыня превзошла себя. Она поставила ее на колени на дрань, или на десницы, в которых были набиты гвозди. В этом положении она била ее по спине и по голове вальком и, когда выбилась из сил, позвала кучера на смену; по счастью, его не было в людской, барыня вышла, а девушка, полубезумная от боли, окровавленная, в одной рубашке, бросилась на улицу из частного дома. Пристав принял показания, и дело пошло своим порядком, полиция возилась, уголовная палата возилась с год времени; наконец суд, явным образом закупленный, решил премудро: позвать мужа Ярыжкиной и внушить ему, чтоб он удерживал жену от таких наказаний, а ее самое, оставя в подозрении, что она способствовала смерти двух горничных, обязать подпиской их впредь не наказывать. На этом основании барыня отдавали несчастную девушку, которая в продолжение дела содержалась где-то.

Девушка, перепуганная будущностью, стала писать просьбу за просьбой; дело дошло до государя, он велел переследовать его и прислал из Петербурга чиновника. Вероятно, средства Ярыжкиной не шли до подкупа столичных, министерских и жандармских следопроизводителей, и дело приняло иной оборот. Помещица отправилась в Сибирь на поселение, ее муж был взят под опеку, все члены уголовной палаты отданы под суд; чем их дело кончилось, не знаю.

Я в другом месте<sup>48</sup> рассказал о человеке, засеченном князем Трубецким, и о камергере Базилевском, высечен<sup>(76)</sup>ном своими людьми. Прибавлю еще одну дамскую историю.

Горничная жены пензенского жандармского полковника несла чайник, полный кипятком; дитя ее барыни, бежавши, наткнулся на горничную, и та пролила кипяток; ребенок был обварен. Барыня, чтоб отомстить той же монетой, велела привести ребенка горничной и обварила ему руку из самовара... Губернатор Панчулидзе, узнав об этом чудовищном происшествии, душевно жалел, что находится в деликатном отношении с жандармским полковником и что, вследствие этого, считает неприличным начать дело, которое могут счесть за личность!

А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями, как в Старой Руссе солдаты военных поселений избили всех русских немцев и немецких русских.

В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую предупредить легко, а остановить вряд возможно ли будет?

Старая Русса, военные поселения! – страшные имена! Неужели история, вперед закупленная аракачееской на-водкой<sup>49</sup>, никогда не отдернет савана, под которым правительство спрятало ряд злодейств, холодно, систематически совершенных при введении поселений? Мало ли ужасов было везде, но тут прибавился особый характер – петербургско-гатчинский, немецко-татарский. Месяцы целые продолжалось забивание палками и засекание розгами непокорных... пол не просыхал от крови в

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru земских избах и канцеляриях... Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!

Монгольская сторона московского периода, искажившая славянский характер русских, фухтельное бесчеловечье, искажившее петровский период, воплотилось во всей роскоши безобразия в графе Аракчееве. Аракчеев, (77) без сомнения, одно из самых гнусных лиц, всплывших после Петра I на вершины русского правительства; этот

Холоп венчанного солдата,

как сказал об "ем Пушкин, был идеалом образцового капрала, так, как он носился в мечтах отца Фридриха II: нечеловеческая преданность, механическая исправность, точность хронометра, никакого чувства, рутинная и деятельность, ровно столько ума, сколько нужно для исполнителя, и ровно столько честолюбия, зависти, желчи, чтоб предпочитать власть деньгам. Такие люди—"лад для царей. Только мелкой злопамятностью Николая и можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями.

Павел открыл Аракчеева по сочувствию. Александр, пока еще у него был стыд, не очень приближал его; но, увлеченный фамильной страстью к выправке и фрунту, он вверил ему походную канцелярию. О победах этого генерала-от-артиллерии мы мало слышали; он исполнял больше статские должности в военной службе, его сражения давались на солдатской спине, его враги приводились к нему в цепях, они вперед были побеждены. В последние годы Александра Аракчеев управлял всей Россией. Он мешался во все, на все имел право и бланковые подписи. Расслабленный и впадавший в мрачную меланхолию, Александр поколебался немного между кн. А. Н. Голицыным и Аракчеевым и, естественно, склонился окончательно на сторону последнего.

Во время таганрогской поездки Александра в имение Аракчеева, в Грузине, дворовые люди убили любовницу графа; это убийство подало повод к тому следствию, о котором с ужасом до сих пор, то есть через семнадцать лет, говорят чиновники и жители Новгорода.

Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар ее зарезал. Преступление (78) было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.

Но виновный был нужен для мести нежного старика, он бросил дела всей империи и прискакал в Грузине. Среди пыток и крови, среди стона и предсмертных криков Аракчеев, повязанный окровавленным платком, снятым с трупа наложницы, писал к Александру чувствительные письма, и Александр отвечал ему: "Приезжай отдохнуть "а груди твоего друга от твоего несчастья". Должно быть, баронет Виллие был прав, что у императора перед смертью вода разлилась в мозгу.

Но виновные не открывались. Русский человек удивительно умеет молчать.

Тогда, совершенно бешеный, Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почернелый, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению, за дальнейшее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; купцы, писаря ждали по неделям в части допроса. Жители прятались по домам, боялись ходить по улицам; о самой истории никто не осмеливался поминать.

Клейнмихель, служивший при Аракчееве, участвовал в этом следствии...

Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец, изнемог и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него не осталось сил. Он взмолился к губернатору, это было при старике Попове, который мне рассказывал, и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злости, бросился на исправника с поднятым кулаком: "Я вас сейчас, велю арестовать, я вас отдам под суд, вы - изменник!" Исправник был арестован и подал в отставку; душевно жалею, что не знаю его фамилии, да будет



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru ему прощены его прежние грехи за эту минуту – скажу просто, геройства, (79) с такими разбойниками вовсе была не шутка показать человеческое чувство.

Женщину пытали, она ничего не знала о деле... однако ж умерла.

Да и "благословенный" Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Середь торжества следопроизводителей пришел приказ Николая отдать их под суд и остановить все дело.

Губернатора велено было судить сенату...51, оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации, под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева, под него подошел этот мерзавец. Через два-три года он же был судим в Тамбове за злоупотребление власти в своем именье; да, он подошел под манифест Николая, он был ниже его.

В начале 1842 года я был до невозможности утомлен губернским правлением и придумывал предлог, как бы отделаться от него. Пока я выбирал то одно, то другое средство, случай совершенно внешний решил за меня.

Раз в холодное зимнее утро приезжаю я в правление, в передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собой дитя. Пока она мне рассказывала дело, взошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить, ему было скучно, женщина, рыдая, цеплялась за его ноги, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: "Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь". После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю.

И я пошел... с меня было довольно... разве эта женщина не приняла меня за одного из них? Пора кончить комедию. (80)

– Вы нездоровы? – спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

– Болен, – отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении. Потом я подал в отставку "за болезнь". Отставку мне сенат дал, присовокупив к ней чин надворного советника; но Бенкендорф с тем вместе сообщил губернатору, что мне запрещен въезд в столицы и ведено жить в Новгороде.

Огарев, возвратившийся из первой поездки за границу, принялся хлопотать в Петербурге, чтоб нам было разрешено переехать в Москву. Я мало верил успеху такого протектора и страшно скучал в дрянном городишке с огромным историческим именем. Между тем Огарев все обделал. 1 июля 1842 года императрица, пользуясь семейным праздником, просила государя разрешить мне жительство в Москве, взяв во внимание болезнь моей жены и ее желание переехать туда. Государь согласился, и через три дня моя жена получила от Бенкендорфа письмо, в котором он сообщал, что мне разрешено сопровождать ее в Москву вследствие представительства государыни. Он заключил письмо приятным извещением, что полицейский надзор будет продолжаться и там.

Новгород я оставлял без всякого сожаления и торопился как можно скорее уехать. Впрочем, при разлуке с ним случилось чуть ли не единственно приятное происшествие в моей новгородской жизни.

У меня не было денег; ждать из Москвы я не хотел, а потому и поручил Матвею сыскать мне тысячи полторы рублей ассигнациями. Матвей через час явился с содержателем гостиницы Гибиным, которого я знал и у которого в гостинице жил с неделю. Гибин, толстый купец с добродушным видом, кланяясь, подал пачку ассигнаций.

– Сколько желаете процентов? – спросил я его.

– Да я, видите, – отвечал Гибин, – этим делом не занимаюсь и в припент денег не

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru даю, а так как слышал от Матвея Савельевича, что вам нужны деньги на месяц, на другой, а мы вами очень довольны, а деньги, слава богу, свободные есть, - я и принес.

Я поблагодарил его и спросил, что он желает: простую расписку или вексель? но Гибин и на это отвечал:

- Дело излишнее, я вашему слову верю больше, чем гербовой бумаге. (81)

- Помилуйте, да ведь могу же я умереть.

- Ну, так к горести об вашей кончине, - прибавил Гибин, смеясь, - не много прибудет от потери денег.

Я был тронут и вместо расписки горячо пожал ему руку. Гибин, по русскому обычаю, обнял меня и сказал:

- Мы ведь все смекаем, знаем, что служили-то вы поневоле и что вели себя не то, что другие, прости господи, чиновники, и за нашего брата и за черный народ заступались, вот я и рад, что потрафился случай сослужить службу.

Когда мы поздно вечером выезжали из города, ямщик осадил лошадей против гостиницы и тот же Гибин подал мне на дорогу торт величиною с колесо...

Вот моя "пряжка за службу"!

#### ГЛАВА XXVIII

Grubelei52. - Москва после ссылки. - Покровское. - Смерть Матвея. - Иерей Иоанн.

Жизнь наша в Новгороде шла нехорошо. Я приехал туда не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением. Вторая ссылка с своим пошлым характером раздражала больше, чем огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять дух, а только дразнила, в ней не было ни интереса новости, ни раздражения опасности. Одного губернского правления с своим Элпидифором Антлоховичем Зуровым, советником Хлопиным и виц-губернатором Пименом Араповым было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь.

Я сердился; грустное расположение брало верх у Natalie. Нежная натура ее, привыкшая в детстве к печали и слезам, снова отдавалась себябуряющей тоске. Она долго останавливалась на мучительных мыслях, легко пропуская все светлое и радостное. Жизнь становилась сложнее, струн было больше, а с ними и больше тревоги. Вслед за болезнью Саши - испуг III отделения, несчастные роды, смерть младенца. Смерть младенца едва чувствуется отцом, забота о родильнице заставляет почти за(82)бывать промелькнувшее существо, едва успевшее проплакать и взять грудь. Но для матери новорожденный - старый знакомый, она-давно чувствовала его, между ними была физическая, химическая, нервная связь; сверх того, младенец для матери - выкуп за тяжесть беременности, за страдания родов, без него мучения, лишённые цели, оскорбляют, без него ненужное молоко бросается в мозг.

После кончины Natalie я нашел между ее бумагами записочку, о которой я совсем забыл. Это были несколько строк, написанных мною за час или за два до рождения Саши. Это была молитва, благословение, посвящение народившегося существа на "службу человечества", обречение его на "трудный путь".

С другой стороны было написано рукой Natalie: "1 января, 1841. Вчера Александр дал мне этот листок; лучшего подарка он не мог сделать, этот листок разом вызвал всю картину трехлетнего счастья, непрерывного, беспредельного, основанного на одной любви.

Так перешли мы в новый год; что бы ни ждало нас в нем, я склоняю голову и говорю за нас обоих: да будет твоя воля!

Мы встречали новый год дома, уединенно; только А. Л. Витберг был у нас. Недоставало маленького Александра в кружке нашем, малютка покоился безмятежным сном, для него еще не существует ни прошедшего, ни будущего. Спи мой ангел, беззаботно, я молюсь о тебе - и о тебе, дитя мое, еще не родившееся, но которого я уже люблю всей любовью матери, твое движение, твой трепет так много говорят

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru моему сердцу. Да будет твое пришествие в м"р радостно и благословенно!"

Но благословение матери не сбылось: младенец был казнен Николаем. Мертвящая рука русского самодержца замешалась и тут, - и тут задушила!

Смерть малютки не прошла ей даром.

С грустью и взошедшей внутрь злобой переехали мы в Новгород.

Правда того времени так, как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, проходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книге того времени. Я собирался писать журнал, начинал много раз и никогда не продолжал. В день моего рождения в Новгороде Natalie подарила мне (83) белую книгу, в которой я иногда писал, что было на сердце или в голове.

Книга эта уцелела. На первом листе Natalie написала: "Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны!"

А через три года она прибавила на ее последнем листе:

"В 1842 я желала, чтоб все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось, - и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе, - в любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя.

Мир прошедшему и благословение грядущему! 25 марта 1845, Москва".

Вот что там записано 4 апреля 1842 года:

"Господи, какая невыносимая тоска! слабость ли это, или мое законное право? Неужели мне считать жизнь оконченной, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться, - ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок... и еще годы надобно таскать эту тяжесть!"

И, будто сам испугавшись, я выписал вслед за тем стихи Гёте:

Cut verloren - etwas verloren,

Ehre verloren - viel verloren.

Musst Ruhm gewinnen,

Da werden die Leute sich anders besinnen.

Mut verloren - alles verloren.

Da wares besser nicht geboren<sup>53</sup>.

И потом:

"...Мои плечи ломаются, но еще несут!"

"...Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? а между тем наши страдания - почки, из которых разовьется их (84) счастье. Поймут ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее? Отчего руки не поднимаются на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. Пусть же они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем: мы заслужили их грусть!"

"...Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь, - и как бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту (просил его, чтоб он выхлопотал мне право переехать в Москву). Написавши такое письмо, я делаюсь болен, on se sent fjetri<sup>54</sup>. Вероятно, это чувство, которое испытывают публичные женщины,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru продаваясь первые раза за деньги..."

И вот эту-то досаду, этот строптивый крик нетерпения, эту тоску по свободной деятельности, чувство цепей на ногах – Natalie приняла иначе.

Часто заставлял я ее у кровати Саши с заплаканными глазами; она уверяла меня, что все это от расстроенных нерв, что лучше этого не замечать, не спрашивать... я верил ей.

Раз воротился я домой поздно вечером; она была уже в постели; я взшел в спальную. На сердце у меня было скверно. Ф. пригласил меня к себе, чтоб сообщить мне свое подозрение на одного из наших общих знакомых, что он в сношениях с полицией. Такого рода вещи обыкновенно щемят душу не столько возможной опасностью, сколько чувством нравственного отвращения.

Я ходил молча по комнате, перебирая слышанное мною, вдруг мне показалось, что Natalie плачет; я взял ее платок – он был совершенно взмоchen слезами.

– Что с тобой? – спросил я, испуганный и потрясенный.

Она взяла мою руку и голосом, полным слез, сказала мне:

– Друг мой, я скажу тебе правду; может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебе скучно, – я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство (85) пустоты, ты чувствуешь бедность твоей жизни – и в самом деле, что я могу сделать для тебя?

Я был похож на человека, которого вдруг разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное: он уже испуган, дрожит, но еще не понимает, в чем дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной, глубокой любви, что и не говорил об этом, это было великое подразумеваемое всей жизни нашей; покойное сознание, беспредельная уверенность, исключаяющая сомнение, даже неуверенность в себе – составляли основную стихию моего личного счастья. Покой, отдохновение, художественная сторона жизни – все это было как перед нашей встречей на кладбище, 9 мая 1838, как в начале владимирской жизни – в ней, в ней и в ней!

Мое глубокое огорчение, мое удивление сначала рассеяли эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокаивал ее, утешал, она сама улыбалась над черными призраками, и снова солнце освещало наш уголок; но только что я забывал их, они опять подымали голову, совершенно ничем не вызванные, и, когда они приходили, я вперед боялся их возвращения.

Таково было расположение духа, в котором мы, в июле 1842 года, переехали в Москву.

Московская жизнь, сначала слишком рассеянная, не могла благотворно действовать, ни успокоить. Я не только не помог ей в это время, а, напротив, дал повод развиться сильнее и глубже всем Grubelei...

Когда мы приезжали из новгородской ссылки в Москву, вот что случилось перед самым отъездом.

Как-то утром я взшел в комнату моей матери; молодая горничная убирала ее; она была из новых, то есть из доставшихся моему отцу после Сенатора. Я ее почти совсем не знал. Я сел и взял какую-то книгу. Мне показалось, что девушка плачет; взглянув на нее – она в самом деле плакала и вдруг в страшном волнении подошла ко мне и бросилась мне в ноги.

– Что с тобой, что с тобой – говори просто! – сказал я ей, сам удивленный и сконфуженный.

– Возьмите меня с собой... Я вам буду служить верой и правдой, вам надобно горничную, возьмите меня. Здесь я должна погибнуть от стыда... – и она рыдала, как дитя,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Тут только я разглядел причину. (86)

С разгоревшимся от слез и стыда лицом, с выражением страха и ожидания, с умоляющим взглядом стояла передо мной бедная девушка – с тем выражением, которое дает женщине беременность.

Я улыбнулся и сказал ей, чтоб она приготавливала свои пожитки. Я знал, что моему отцу было все равно, кого я возьму с собой.

Она у нас прожила год. Время под конец нашей жизни в Новгороде было тревожно – я досадовал на ссылку и со дня "а день ждал в каком-то раздражении разрешения ехать в Москву. Тут я только заметил, что горничная очень хороша собой... Она догадалась!., и все прошло бы без шага далее. Случай помог. Случай всегда находится, особенно когда ни с одной стороны его не избегают.

Мы переехали в Москву. Пирьы шли за пирами... Возвратившись раз поздно ночью домой, мне приходилось идти задними комнатами. Катерина отворила мне дверь. Видно было, что она только что оставила постель, щеки ее разгорелись ото сна; на ней была наброшена шаль; едва подвязанная густая коса готова была упасть тяжелой волной... Дело было на рассвете. Она взглянула на меня и, улыбаясь, сказала:

– Как вы поздно.

Я смотрел на нее, упиваясь ее красотой, и инстинктивно, полусознательно положил руку на ее плечо, шаль упала... она ахнула... ее грудь была обнажена.

– Что вы это? – прошептала она, взглянула взволнованно мне в глаза и отвернулась, словно для того, чтоб оставить меня без свидетеля... Рука моя коснулась разгоряченного сном тела... Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдаётся ей, теряется в ней...

В эту минуту я любил эту женщину, и будто в этом упоении было что-нибудь безнравственное... кто-нибудь обижен, оскорблен... и кто же? Ближайшее, самое дорогое мне существо на земле. Мое страстное увлечение имело слишком мимолетный характер, чтоб овладеть мною – тут не было корней (ни с той, ни с другой стороны, с ее стороны вряд было ли и увлечение), и все прошло бы бесследно, оставив по себе улыбку, знойное воспоминание и, может, раза два вспыхнувшую краску на щеках... Вышло не так, замешались другие силы; (87) необдуманно был мною пущен камень... остановить, направить было вне моей воли...

Мне показалось, что Natalie что-то слышала, что-то подозревала, я решился рассказать ей, что было. Трудны такие исповеди, но мне казалось это необходимым очищением, экспиацией, восстановлением той откровенной чистоты отношений, которую молчание с моей стороны могло потрясти, испугать. Я считал, что самая откровенность смягчит удар, но он поразил сильно и глубоко; она была сильно огорчена, ей казалось, что я пал и ее увлек с собой в какое-то падение. Зачем я не подумал о последствиях и не остановился не перед самым поступком, а перед тем отражением, которое он должен был вызвать в существе, так неразрывно, тесно связанным со мною? Разве я не знал аскетическую точку зрения, с которой женщина, самая развитая и давно покончившая с христианством, смотрит на измену, не делая никаких различий, не принимая никаких облегчающих причин?

Упрекать женщину в ее исключительном взгляде вряд справедливо ли. Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить в них предрассудки? Их разбивает опыт, а оттого и надломится не предрассудок, а жизнь. Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбища или места, на которых...

Она перешагнула, но коснувшись гроба! Она все поняла, но удар был неожидан и силен; вера в меня поколебалась, идол был разрушен, фантастические мучения уступали факту. Разве случившееся не подтверждало праздность сердца? В противном случае разве оно не противостояло бы первому искушению – и какому? И где? В нескольких шагах от нее. И кто соперница? Кому она пожертвована? Женщине, вешавшейся каждому на шею...

Я чувствовал, что все это было не так, чувствовал, что она никогда не была жертвована, что слово "соперница" нейдет и что если б эта женщина не была легкой женщиной, то ничего бы и не было, но, с другой стороны, я понимал и то,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
что оно могло так казаться.

Борьба насмерть шла внутри ее, и тут, как прежде, как после, я удивлялся. Она ни разу не сказала слова, которое могло бы обидеть Катерину, по которому она могла бы догадаться, что Наташе знала о бывшем, – упрек был для меня мирно и тихо оставила она наш дом. Natalie ее отпустила с такою кротостью, что простая женщина, (88) все же наивное дитя народа, рыдая, на коленях перед ней сама рассказала ей, что было, и просила прощенья.

Natalie занемогла. Я стоял возле свидетелем бед, наделанных мною, и больше, чем свидетелем, – собственным обвинителем, готовым идти в палачи. Перевернулось и мое воображение – мое падение принимало все большие и большие размеры. Я понизился в собственных глазах и был близок к отчаянию. В записной книге того времени уцелели следы целой психической болезни от покаяния и себяобвинения до ропота и нетерпения, от смирения и слез до негодования...

"Я виноват, много виноват, я заслужил крест, лежащий на мне (записано 14 марта 1843 года)... Но когда человек с глубоким сознанием своей вины, с полным раскаянием и отречением от прошедшего просит, чтоб его избили, казнили, он не возмутится никаким приговором, он вынесет все, смиренно склоняя голову, он надеется, что ему будет легче по ту сторону наказания, жертвы, что казнь примирит, замкнет прошедшее. Только сила карающая должна на том остановиться; если она будет продолжать кару, если она будет поминать старое, человек возмутится и сам начнет реабилитировать себя... Что же в самом деле он может прибавить к своему искреннему раскаянию? Чем ему еще примириться? Дело человеческое состоит в том, чтобы, оплакавши вместе с виновным его падение, указать ему, что он все еще обладает силами восстановления. Человек, которого уверяют, что он сделал смертный грех, должен или зарезаться, или еще глубже пасть, чтоб забыться, – иного выхода ему нет".

13 апреля. "Любовь!.. Где ее сила? Я, любя, нанес оскорбление. Она, еще больше любя, не может стереть оскорбление. Что же после этого может человек для человека? Есть развития, для которых нет прошедшего, оно в них живо и не проходит... они не гнутся, а ломаются, они падают падением другого и не могут сладить с собой".

30 мая 1843. "Исчезло утреннее, алое освещение, и когда миновала буря и рассеялись мрачные тучи, мы были больше умны и меньше счастливы".

Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше, – вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен.

Это был кризис, болезненный переход из юности в совершеннолетие. Она не могла сладить с мыслями, точившими ее, она была больна, худела, – испуганный, упрекая (89) себя, стоял я возле и видел, что той самодержавной власти, с которой я мог прежде заклинать мрачных духов, у меня нет больше, мне было больно это и бесконечно жаль ее.

Говорят, что дети растут в болезнях; в эту психическую болезнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. Вместо утреннего, яркого, но косо освещенного она входила этим скорбным путем в светлый полдень: Организм вынес – это только и было нужно. Не утрачивая ни одной йоты женственности, она мыслью развилась с необычайной смелостью и глубиной. Тихо и с самоотверженной улыбкой склонялась она перед неотвратимым, без романтического ропота, без личной строптивости и без кичливого удовольствия, с другой стороны.

Не в книге к книгой освободилась она, а ясновидением и жизнью. Неважные испытания, горькие столкновения, которые для многих прошли бы бесследно, провели сильные бразды в ее душе и были достаточным поводом внутренней глубокой работы. Довольно было легкого намека, чтоб от последствия к последствию она доходила до того безбоязненного понимания истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно расставалась с своим иконостасом, в котором стояло так много заветных святынь, облитых слезами печали и радости; она покидала их, не краснея, как краснеют большие девочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась от них, она их уступила с болью, зная, что она станет от этого беднее, беззащитнее, что кроткий свет мерцающих лампад заменится серым рассветом, что она дружит с суровыми, равнодушными силами, глухими к лепету молитвы, глухими к заgrabным упованиям. Она тихо отняла их от груди, как умершее дитя, и тихо опустила их в

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
гроб, уважая в них прошлую жизнь, поэзию, данную ими, их утешения в иные минуты. Она и после не любила холодно касаться до них, так, как мы минуем без нужды ступать на земляную насыпь могилы.

При этой сильной внутренней работе, при этой ломке и перестройке всех убеждений явилась естественная потребность отдыха и одиночества.

Мы уехали в подмосковную моего отца.

И как только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями, – мы широко вздохнули и опять светло взглянули на жизнь. Мы жили в деревне до поздней осени. (90)

Изредка приезжали гости из Москвы, Кетчер гостил с месяц, все друзья явились к 26 августа; потом опять тишина, тишина и лес, и поля – и никого, кроме нас.

Уединенное Покровское, потерянное в огромных лесных дачах, имело совершенно другой характер, гораздо больше серьезный, чем весело брошенное на берегу Москвы-реки Васильевское с своими деревнями. Разница эта даже была заметна между крестьянами. Покровские мужички, задвинутые лесами, меньше васильевских походили на подмосковных, несмотря на то, что жили двадцатью верстами ближе к Москве. Они были тише, проще и чрезвычайно тесно сжились между собой. Мой отец переселил в Покровское одну богатую крестьянскую семью из Васильевского, но они никогда не считали эту семью на принадлежащую к их селу и называли их "посельщиками".

С Покровским я тоже был тесно соединен всем детством, там я бывал даже таким ребенком, что и не помню, а потом с 1821 года почти всякое лето, отправляясь в Васильевское или из Васильевского, мы заезжали туда на несколько дней. Там жил старик Кашенцов, разбитый параличом, в опале с 1813 года, и мечтал увидеть своего барина с кавалериями и регалиями; там жил и умер потом, в холеру 1831, почтенный седой староста с брюшком, Василий Яковлев, которого я помнил во все свои возрасты и во все цвета его бороды, сперва темно-русой, потом совершенно седой; там был молочный брат мой Никифор, гордившийся тем, что для меня отняли молоко его матери, умершей впоследствии в доме умалишенных...

Небольшое село из каких-нибудь двадцати или двадцати пяти дворов стояло в некотором расстоянии от довольно большого господского дома. С одной стороны был расчищенный и обнесенный решеткой полукруглый луг, с другой – вид на запруженную речку для предполагаемой лет за пятнадцать тому назад мельницы и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лет пятнадцать, Сенатор и мой отец, владевшие этим имением сообща.

Дом, построенный Сенатором, был очень хорош, высокие комнаты, большие окна и с обеих сторон сени вроде террас. Он был построен из отборных толстых бревен, ничем не покрытых ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченных паклей и мохом. Стены эти пахли смолой, (91) выступавшей там-сям янтарным потом. Перед домом, за небольшим полем, начинался темный строевой лес, через него шел просек в Звенигород; по другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей через майковскую фабрику – на Можайку. Дубравный покой и дубравный шум, непрерывное жужжание мух, пчел, шмелей... и запах... этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами... которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при широко, перед грозой... и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик, валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!

Солнце село, еще очень тепло, домой идти не хочется, мы сидим на траве. Кетчер разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик? к нам, что ли? Сегодня суббота – может быть.

– Исправник едет куда-нибудь, – говорит Кетчер, подозревая, что это не он.

Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок, тут одна дорога и есть – к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда; Михаил Семенович, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясицу. А Кетчер уже бранит их:

- Да что вас эта нелегкая принесла в восемь часов вечера, не могли раньше ехать, все привередник Белинский, - не может рано встать. Вы что смотрели!

- Да он еще больше одичал у тебя, - говорит Белинский, - да и волосы какие отрастил! Ты, Кетчер, мог бы в "Макбете" представлять подвижной лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств, есть злодеи, которые позже нашего приезжают.

Другая тройка уже погибает на двор: Грановский, Е. Корш.

- Надолго ли вы? (92)

- На два дни.

- Превосходно! - И сам Кетчер рад до того, что встречает их почти так, как Тарас Бульба своих сыновей.

Да, это была одна из светлых эпох нашей жизни, от прошлых бурь едва оставались исчезающие облака; дома, в кругу друзей, была полная гармония!

А чуть было нелепая случайность не перепортила все.

Как-то вечером Матвей, при нас показывая Саше что-то на плотине, поскользнулся и упал в воду с мелкой стороны. Саша перепугался, бросился к нему, когда он вышел, вцепился в него ручонками и повторял сквозь слезы: "Не ходи, не ходи, ты утонешь!" Никто не думал, что эта детская ласка будет для Матвея последняя и. что в словах Саши заключалось для него страшное пророчество.

Измокший и замаравшийся Матвей пошел спать, - и мы больше не видали его.

На другое утро я стоял на балконе часов в семь, слышались какие-то голоса, больше и больше, нестройные крики, и вслед за тем показались мужики, бежавшие стремглав.

- Что у вас там?

- Да беда, - отвечали они, - человек-то ваш никак тонет... одного вовремя вытащили, а другого не могут сыскать.

Я бросился к реке. Староста был налицо и распоряжался без сапог и с засученными портками; двое мужиков с кояги забрасывали невод. Минут через пять они закричали: "Нашли, нашли!" - и вытащили на берег мертвое тело Матвея. Цветущий юноша этот, красивый, краснощекий, лежал с открытыми глазами, без выражения жизни, и уж нижняя часть лица начала вздуться. Староста положил тело на берегу, строго наказал мужикам не дотрогиваться, набросил на него армяк, поставил караульного и послал за земской полицией...

Когда я возвратился домой, я встретился с Natalie; она уже знала, что случилось, и, рыдая, бросилась ко мне.

Жаль, очень жаль нам было Матвея. Матвей в нашей небольшой семье играл такую близкую роль, был так тесно связан со всеми главными событиями ее последних пяти лет и так искренно любил нас, что потеря его не могла легко пройти. (93)

"Может, - писал я тогда, - для него смерть - благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего. Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно, его развитие мучило его своей неравномерностью".

Печальная сторона в судьбе Матвея состояла именно в разрыве, который неосторожное развитие - внесло в его жизнь и в немоготе наполнить его, в отсутствии твердой воли одолеть им. Благородные чувства и нежное сердце в нем были сильнее ума и характера. Он быстро, по-скенски, почуял многое, особенно из нашего воззрения; но смиренно возвратиться к началам, к азбуке и выполнить учением пустоты и пробелы он не был в состоянии. Звания своего он не любил, да и не мог любить. Общественное неравенство нигде не является с таким унижающим,



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru оскорбительным характером, как в отношении между бариним и слугой. Ротшильд на улице гораздо ровнее с нищим, который стоит с метлой и размечает перед ним грязь, чем с своим камердинером в шелковых чулках и белых перчатках.

Жалобы на слуг, которые мы слышим ежедневно, так же справедливы, как жалобы слуг на господ, и это не потому, чтоб те и -другие сделались хуже, а потому, что "х" отношение больше и больше приходит в сознание. Оно удручительно для слуги и развращает барина.

Мы так привыкли к нашему аристократическому отношению к прислуге, что вовсе его не замечаем. Сколько есть на свете барышень, добрых и чувствительных, готовых плакать о зябнущем щенке, отдать нищему последние деньги, готовых ехать в трескучий мороз на томболу<sup>55</sup> в пользу разоренных в Сирии, на концерт, дающийся для погорелых в Абиссинии, и которые, прося маменьку еще остаться на кадрили, ни разу не подумали о том, как малютка-форейтор мерзнет на ночном морозе, сидя верхом с застывающей кровью в жилах.

Гнусно отношение господ с слугами. Работник по крайней мере знает свою работу, он что-нибудь делает, он что-нибудь может сделать поскорее, и тогда он прав, наконец, он может мечтать, что сам будет хозяином. Слуга не может кончить своей работы, он в беличьем колесе; жизнь (94) сорит, сорит беспрестанно, слуга беспрестанно подчищает за ней. Он должен взять на себя все мелкие неудобства жизни, все грязные, все скучные ее стороны. На него надевают ливрею, чтоб показать, что он не сам, а чей-то. Он ухаживает за человеком вдвое больше здоровым, чем он сам, он должен ступать в грязь, чтоб тот сухо прошел, он должен мерзнуть, чтоб тому было тепло.

Ротшильд не делает нищего ирландца свидетелем своего лукулловского обеда, он его не посылает наливать двадцати человекам Clos de Vougeot с подразумеваемым замечанием, что если он нальет себе, то его прогонят как вора. Наконец, ирландец тем уже счастливее комнатного раба, что он не знает, какие есть мягкие кровати и пахучие вина.

Матвею было лет пятнадцать, когда он перешел ко мне от Зонненберга. С ним я жил в ссылке, с ним во Владимире; он нам служил в то время, когда мы были без денег. Он, как нянька, ходил за Сашей, наконец, он имел ко мне безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из понимания, что я не в самом деле барин. Его отношение ко мне больше походило на то, которое встарь бывало между учениками итальянских художников и их maestri<sup>56</sup>. Я часто был им недоволен, но вовсе не как слугой... я печально смотрел на его будущность; чувствуя тягость своего положения, страдая об этом, он ничего не делал, чтоб выйти из него. В его лета, если б он хотел заниматься, он мог бы начать новую жизнь; но для этого-то и надобен был постоянный, настойчивый труд, часто скучный, часто детский. Его чтение ограничивалось романами и стихами; он их понимал, ценил, иногда очень верно, но серьезные книга его утомляли. Он медленно и плохо считал, дурно и нечетко писал. Сколько я ни настаивал, чтоб он занялся арифметикой и чистописанием, не мог дойти до этого: вместо, русской грамматики он брался то за французскую азбуку, то за немецкие диалоги, разумеется, это было потерянное время и только обескураживало его. Я его сильно бранил за это, он огорчался, иногда плакал, говорил, что он несчастный человек, что ему учиться поздно, и доходил иногда до такого отчаяния, что желал умереть, бросал все занятия и недели, месяцы проводил в скуке и праздности. (95)

С посредственными способностями, без большого размаха можно было бы еще сладить. Но, по несчастю, у этих психически тонко развитых, но мягких натур большею частью сила тратится на то, чтоб ринуться вперед, а на то, чтоб продолжать путь, ее и нет. Издали образование, развитие представляются им с своей поэтической стороны, ее-то они и хотели бы захватить, забывая, что им недостает всей технической части дела - doigte<sup>57</sup>, без которого инструмент все-таки не покоряется.

Часто спрашивал я себя, не ядовитый ли дар для него его полуразвитие? Что-то ждет его в будущем?

Судьба разрубила гордиев узел!

Бедный Матвей! К тому же и самые похороны его были окружены, при всем подавляющем, угрюмом характере, скверной обстановкой и притом совершенно

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
отечественной.

К полудню приехали становой и писарь, с ними явился и наш сельский священник, горький пьяница и старый старик. Они освидетельствовали тело, взяли допросы и сели в зале писать. Поп, ничего не писавший и ничего не читавший, надел на нос большие серебряные очки и сидел молча, вздыхая, зевая и крестя рот, потом вдруг обратился к старосте и, сделавши движение, как будто нестерпимо болит поясница, спросил его:

- А что, Савелий Гаврилович, закусочка будет?

Староста, важный мужик, произведенный Сенатором и моим отцом в старосты за то, что он был хороший плотник, не из той деревни (следственно, ничего в ней не знал) и был очень красив собой, несмотря на шестой десяток, - погладил свою бороду, расчесанную веером, и, так как ему до этого никакого дела не было, отвечал густым басом, поглядывая на меня исподлобья: . - А уж это не можем доложить-с!

- Будет, - отвечал я и позвал человека.

- Благодарение господу богу; да и пора, рано встаю, Лександр Иванович, так и отоцал.

Становой положил перо и, потирая руки, сказал, прихорашиваясь:

- У нас, кажись, отец-то Иоанн взалкал; дело доброе-с, коли хозяин не прогневается, можно-с. (96)

Человек принес холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу.

- Благословите-ка, батюшка, яко пастырь, и покажите пример, а мы, грешные, за вами,- заметил становой.

Поп с поспешностью и с какой-то чрезвычайно сжатой молитвой хватил винную рюмку сладкой водки, взял крошечный вершок хлеба в рот, погрыз его и в ту же минуту выпил другую и потом уже тихо и продолжительно занялся ветчиной.

Становой - и это мне особенно врезалось в память, - повторяя тоже сладкую водку, был ею доволен и, обращаясь ко мне с видом знатока, заметил:

- Полагаю-с, что доппель-кюммель<sup>58</sup> у вас от вдовы Руже-с?

Я не имел понятия, где покупали водку, и велел подать полуштоф, действительно, водка была от вдовы Руже. Какую практику надобно было иметь, чтоб различить по-букету водки - имя заводчика!

Когда они покончили, староста положил становому в телегу куль овса и мешок картофеля, писарь, напившийся в кухне, сел на облучок, и они уехали.

Священник пошел нетвердыми стопами домой, ковыряя в зубах какой-то щепкой. Я приказывал людям о похоронах, как вдруг отец Иоанн остановился и замахал руками; староста побежал к нему, потом - от него ко мне.

- Что случилось?

- Да батюшка велел вашу милость спросить, - отвечал староста, не скрывая улыбки, - кто, мол, поминки будет справлять по покойнике?

- Что же ты ему сказал?

- Сказал, чтоб не сумлевался, блины, мол, будут.

Матвея схоронили, блинов и водки попу дали, а все-то это оставило за собой длинную темную тень, мне же предстояло еще ужасное дело - известить его мать.

Расстаться с честным иереем храма Покрова божией матери в селе Покровском я никак не могу, не рассказав об нем следующее событие.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Отец Иоанн был не модный семинарский священник, не знал греческих спряжений и латинского синтаксиса. (97)

Ему было за семьдесят лет, полжизни он провел диаконом в большом селе "Елисавет Алексиевны Голохвастовой", которая упросила митрополита рукоположить его священником и определить на открывшуюся вакансию в селе моего отца. Как он ни старался всю жизнь привыкнуть к употреблению большого количества сивухи, он не мог победить ее действия, и поэтому он после полудня был постоянно пьян. Пил он до того, что часто со свадьбы или с крестин в соседних деревнях, принадлежавших к его приходу, крестьяне выносили его за мертвое, клали, как сноп, в телегу, привязывали вожжи к передку и отправляли его под единственным надзором его лошади. Клячонка, хорошо знавшая дорогу, привозила его преаккуратно домой. Матушка попадая также пила допьяна всякий раз, когда бог пошлет. Но замечательнее этого то, что его дочь, лет четырнадцати, могла, не морщась, выпивать чайную чашку пенника.

Мужики презирали его и всю его семью; они даже раз жаловались на него миром Сенатору и моему отцу, которые просили митрополита взойти в разбор. Крестьяне обвиняли его в очень больших запросах денег за требы, в том, что он не хоронил более трех дней без платы вперед, а венчать вовсе отказывался. Митрополит или консистория нашли просьбу ифестьян справедливой и послали отца Иоанна на два "ли на три месяца толочь воду. Поп возвратился после архипастырского исправления не только вдвое пьяницей, но и вором.

Наши люди рассказывали, что раз в храмовый праздник, под хмельком, бражничая вместе с попом, старик крестьянин ему. сказал: "Ну вот, мол, ты азарник какой, довел дело до высокопреосвященнейшего! Честью не хотел, так вот тебе и подрезали крылья". Обиженный поп отвечал будто бы на это: "Зато ведь я вас, мошенников, так и венчаю, так и хороню: что ни есть самые дрянные молитвы, их-то я вам и читаю".

Через год, то есть в 1844, мы опять жили лето в Покровском. Седой, исхудалый поп все так же пил и так же не мог одолеть сильного действия алкоголя. По воскресеньям он повадился после обедни приходить ко мне, напиваться водкой и сидеть часа два. Мне это надоело, я не велел его принимать и даже прятался от него в лес, но он и тут нашелся: "Барина дома нет, говорил он, - ну, а водка-то дома, верно? Небось не взял с собой?" человек (98) мой выносил ему в переднюю большую рюмку сладкой водки, и священник, выпив ее и закусив паюсной икрой, смиренно уходил восвояси. Наконец наше знакомство рушилось окончательно.

Одним утром является ко мне дьячок, молодой долговязый малый, по-женски зачесанный, с своей молодой женой, покрытой веснушками; оба они были в сильном волнении, оба говорили вместе, оба прослезились и стерли слезы в одно время. Дьячок каким-то сплуснутым дискантом, супруга его, страшно картавя, рассказывали в обгонки, что на днях у них украли часы и шкатулку, в которой было рублей пятьдесят денег, что жена дьячка нашла "воя" и что этот "вой" не кто иной, как честнейший богомолец наш и во Христе отец Иоанн.

Доказательства были непреложны: жена дьячка нашла в хламе, выброшенном из священникова дома, кусок от крышки украденного ящика.

Они приступили ко мне, чтоб я защитил их. Сколько я им ни объяснял разделения властей на духовную и светскую, но дьячок не сдавался, жена его плакала; я не знал, что делать. Жаль мне его было, потерю свою он ценил в девяносто рублей. Подумав, я велел заложить телегу и послал старосту с письмом к исправнику; у него-то я спрашивал того совета, который дьячок надеялся получить от меня. К вечеру староста воротился, исправник мне на словах велел сказать: "Бросьте это дело, а то консистория вступится и наделает хлопот. Пусть, мол, барин не трогает кутьи, коли не хочет, чтоб от рук воняло". Ответ этот, и в особенности последнее замечание, Савелий Гаврилов передавал с большим удовольствием.

- А что шкатулку украл батюшка, - прибавил он, - то это так верно, как я перед вами стою.

Я с горестью передал дьячку ответ светской власти Староста, напротив, успокоительно говорил ему:

- Ну, что безвременно нос повесил? погоди, подведем еще; что ты - баба или

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
дьячок?

И подвел староста с компанией.

Был ли Савелий Гаврилов раскольник, или нет, я наверное не знаю; но семья крестьян, переведенная из Васильевского, когда отец мой его продал, вся состояла из старообрядцев. Люди трезвые, смысленные и работающие, они все ненавидели попа. Один из них, которого мужики (99) называли лабазником, имел на Неглинной в Москве свою лавку. История украденных часов тотчас дошла до него; наводя справки, лабазник узнал, что дьякон без места, зять покровского попа предлагал кому-то купить или отдать под заклад часы, что часы эти у менялы; лабазник знал часы дьячка; он к меняле – как раз часы те самые. На радостях он не пожалел лошади и приехал сам с ве-стию в Покровское.

Тогда, с полными доказательствами в руках, дьячок отправился к благочинному. Дни через три я узнал, что поп заплатил дьячку сто рублей и они помирились.

– Как же это было? – спросил я дьячка.

– Благочинный соизволил, как изволили слышать, нашего Ирода выписывать к себе-с. Долго держали их-с, и уже что было, не знаю-с. Только потом изволили меня потребовать и строго сказали мне: "что у вас там за дрязги? стыдно, молодой человек, мало ли что под хмельком случится, старик, видишь, старый, в отцы тебе годится. Он тебе сто рублей на мировую дает. Доволен ли?" "Доволен, – говорю я, мол, – ваше высокоблагословение". – "Ну, а доволен, так хайло-то держи, нечего в колокола звонить, – все же ему за семьдесят лет; а не то, смотри, самого в бараний рог сверну".

И этот пьяный вор, уличенный лабазником, снова явился священнодействовать при том же старосте, который так утвердительно говорил мне, что он украл "шкатунку", с тем же дьячком на крылосе, у которого теперь паки и паки в кармане измеряли скудельное время знаменитые часы, и – при тех же крестьянах!

Случилось это в 1844 году в пятидесяти верстах от Москвы, и я был всего этого свидетелем!

Что же тут удивительного, если на призыв отца Иоанна дух святой, как в песне Беранже, не сойдет

Non, dit l'Esprit Saint, je ne descends pas!59

Как же его не прогнали?

Муж церкви, скажут нам мудрые православия, не может быть подозреваем, как и Цезарева жена! (100)

ГЛАВА XXIX. НАШИ

I

Московский круг. – Застольная беседа. – Западники (Боткин, Редким, Крюков, Е. К(орш)).

Поездкой в Покровское и тихим летом, проведенным там, начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда.

Судорожно натянутые нервы в Петербурге и Новгороде – отдали, внутренние непогоды улеглись. Мучительные разборки нас самих и друг друга, эти ненужные разберезивания словами недавних ран, эти непрерывные возвращения к одним и тем же наблевшим предметам миновали; а потрясенная вера в нашу непогрешительность придавала больше серьезный и истинный характер нашей жизни. Моя статья "По поводу одной драмы" была заключительном словом прожитой болезни.

С внешней стороны теснил только полицейский надзор; не могу сказать, чтоб он был очень докучлив, но неприятное чувство дамочковой трости, занесенной рукой квартального, очень противно.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский – ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был согласнее в мнениях, но с ним я был ближе – там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто – участвуя в обзорах и журналах, кто изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уж очень не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет; мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь с тем успокоенным, (101) ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарелись, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisance<sup>60</sup> нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии – он линяет. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменяла его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместно с нашим характером – и слава богу!

Распушенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитания, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой – гораздо проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так на Западе.

С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противуречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и произвольном непонимании" так и стучишь головой о предел мира завершеного. (102)

Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед; мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее той composite<sup>61</sup> артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.

С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попало бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходов не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более чем с любовью, – чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана, мы не плакали о грехах мира сего – мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы кой на что, не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен.

Ты прав, мой друг, ты прав...

да, ты прав, Боткин – и гораздо больше Платона, – ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас (103) слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти "пантеистическое" наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым славам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку.

Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр – *soberana pantorilla!*

Ведь вот и Редкин был в Испании – но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для юридических комментариев к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барселоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, то есть ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал посматривать на его большую ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что "радикальный юрист" зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую.

– Что за неуважение к науке! ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю, – говорят строго Редкин и вовсе не сердится.

– Это ввв-сё мо-ожет быть, – замечает, заикаясь, Е. Корш, – но отчего же ты себя до того идентифицировал<sup>62</sup> с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?

– Ну, пошло, теперь не кончится, – прибавляет Редкин и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпаясь слегка остротами Крюкова – с изящной античной отделкой по классическим образцам.

Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину; ее объясняет сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис – кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один Кетчер, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом. (104)

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать их; они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды; на минуту я забыл и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю – давно ли перед всеми было так много, так много дороги!..

...И вот перед моими глазами встают наши Лазари – ко не с облаком смерти, а моложе, полные сил. Один из них угас, как Станкевич, вдали от родины – И. П. Галахов.

Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. Корша остроты и шутки искрились, как шипучее вино, от избытка сил. Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию – но без большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галахов очень рано попал в Измайловский полк и так же рано оставил его, и тогда уже принялся себя воспитывать в самом деле. Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru нетерпеливостью хотел вынудить истину, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни. Он не обращал внимания, так, как это делает большая часть французов, на то, что истина только дается методе, да и то остается неотъемлемой от нее; истина же как результат – битая фраза, общее место. Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что она ускользала от его капризного преследования. Он досадовал и сердился. Людям этого слоя не живется в отрицании, в разборе, им анатомия противна, они ищут готового, целого, созидającego. Что же Галахову мог дать наш век, и притом в николаевское царствование?

Он всюду бросался; постучался даже в католическую церковь, но живая душа его отпрянула от мрачного полусвета, от сырого, могильного, тюремного запаха ее безотрадных склепов. Оставив старый католицизм иезуитов и новый – Бюше, он принялся было за философию; ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме. (105)

Готовая организация, обязательный строй и долею казарменный порядок фаланстера, если не находят сочувствия в людях критики, то, без сомнения, сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина, как кормилица, взяла их на руки и ублажала. Фурьеризм имел определенную цель: труд, и труд сообща. Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебания и нерешительность. Это повторяется в самых обыкновенных, ежедневных случаях. "Хотите вы сегодня в театр или за город?" – "Как вы хотите", – отвечает другой, и оба не знают, что делать, ожидая с нетерпением, чтоб какое-нибудь обстоятельство решило за них, куда идти и куда нет. На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигаальная, икарийская лавра. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились, наконец, из сил, сомнения начали одолевать ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку я подчинению, которое, конечно, не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев.

Галахов был слишком развит и независим, чтоб совсем исчезнуть в фурьеризме, но на несколько лет он его увлек. Когда я с ним встретился в 1847 в Париже, он к фаланге питал скорее ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой долго жили, к дому, в котором провели несколько спокойных лет, чем ту, которую верующие имеют к церкви.

В Париже Галахов был еще оригинальнее и милее, чем в Москве. Его аристократическая натура, его благородные, рыцарские понятия были оскорбляемы на каждом шагу; он смотрел с тем отвращением, с которым гадливые люди смотрят на что-нибудь сальное – на мещанство, окружавшее его там. Ни французы, ни немцы его не надули, и он смотрел несколько свысока на многих из тогдашних героев – чрезвычайно просто указывая их мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбие. В его пренебрежении к этим людям проявлялось даже

национальное высокомерие, совершенно чуждое ему. Говоря, например, об одном человеке, который ему очень не нравился, он сжал в одном слове "немец!" выражением, улыбкой и прищуриванием глаз – целую биографию, целую физиологию, целый ряд мелких, грубых, неуклюжих недостатков, специально принадлежащих германскому племени.

Как все нервные люди, Галахов был очень неровен, иногда молчалив, задумчив, но *par saccades* говорил много, с жаром, увлекал вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морил со смеху неожиданной капризностью формы и резкой верностью картин, которые делал в два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передам, как сумею, один из его рассказов, и то в небольшом отрывке. Речь как-то шла в Париже о том неприятном чувстве, с которым мы переезжаем нашу границу. Галахов стал рассказывать, как он ездил в последний раз в свое имение – это был *chef d'oeuvre*.

"...Подъезжаю к границе, дождь, слякоть, через дорогу бревно, выкрашенное черной и белой краской; ждем, не пропускают. Смотрю, с той стороны наезжает на нас казак с пикой, верхом.

– Пожалуйте паспорт. Я ему отдал и говорю:

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Я, братец, с тобой пойду в караульню, здесь очень дождь мочит.

- Никак нельзя-с.

- Отчего?

- Извольте обождать.

Я повернул в австрийскую кордегардию, - не тут-то было, очутился, как из-под земли, другой казак с китайской рожей.

- Никак нельзя-с!

- Что случилось?

- Извольте обождать! - А дождь все сечет, сечет... Вдруг из караульни кричит унтер-офицер: "Под высь!" - цепи загремели, и полосатая гильотина стала подыматься; мы подъехали под нее, цепи опять загремели, и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! В караульне какой-то кантонист прописывает паспорт.

- Это вы сами и есть? - спрашивает; я ему тотчас - цванцигер64. (107)

Тут взошел унтер-офицер, тот ничего не говорит, ну, а я поскорее и ему цванцигер.

- Все в исправности, извольте отправляться в таможду.

Я сел, еду... только все кажется - за нами погоня. Оглядываюсь - казак с пикой трях-трях...

- Что ты, братец?

- В таможду ваше благородие конвоирую. На таможде чиновник в очках книжки осматривает. Я ему - талер и говорю:

- Не беспокойтесь, это все такие книги, ученые, медицинские!

- Помилуйте, что это-с! Эй, сторож, запирай чемодан!

Я - опять цванцигер.

Выпустили, наконец - я нанял тройку, едем бесконечными полями; вдруг зарделось что-то, больше да больше... зарево.

- Смотри-ка, - говорю я ямщику, - а? несчастье.

- Ничего-с, - отвечает он, - должно быть, избенка какая или овин какой горит; ну, ну, пошевеливай, знай!

Часа через два с другой стороны красное небо, - я уж и не спрашиваю, успокоенный тем, что это избенка или овинишко горит.

...В Москву я из деревни приехал в великий пост; снег почти сошел, полозья режут по камням, фонари тускло отсвечиваются в темных лужах, и пристяжная бросает прямо в лицо мороженую грязь огромными кусками. А ведь престранное дело: в Москве только что весна установится, дней пять пройдут сухих, и вместо грязи какие-то облака пыли летят в глаза, першит, и полицмейстер, стоя озабоченно на дрожжах, показывает с неудовольствием на пыль - а полицейские суетятся и посыпают каким-то толченым кирпичом от пыли!"

Иван Павлович был чрезвычайно рассеян, и его рассеянность была таким же милым недостатком в нем, как заикание у Е. Корша; иногда он немного сердился, но большей частью сам смеялся над оригинальными ошибками, в которые он беспрестанно попадал. Ховрина звала его раз на вечер, Галахов поехал с нами слушать "Линду ди Шамуни", после оперы он заехал к Шевалье и, просидев там часа полтора, поехал домой, переделся и отправился к Ховриной. В передней горела свеча, валялись какие-то пожитки. Он в залу, - никого нет; он (108) в гостиную, - там застал он



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
мужа Х(овриной) в дорожном платье, только что приехавшего из Пензы. Тот смотрит на него с удивлением. Галахов осведомляется о пути и спокойно садится в креслы. Ховрин говорит, что дороги скверны и что он очень устал.

- А где же Марья Дмитриевна? - спрашивает Галахов.
- Давно спит.
- Как спит? Да разве так поздно? - спрашивает он, начиная догадываться.
- Четыре часа! - отвечает Ховрин.
- Четыре часа! - повторяет Галахов. - Извините, я только хотел вас поздравить с приездом.

Другой раз, у "их же, он приехал на званый вечер; все были во фраках, и дамы одеты. Галахова не звали, или он забыл, но он явился в пальто<sup>65</sup>; посидел, взял свечу, закурил сигару, говорил, никак не замечая ни гостей, ни костюмов. Часа через два он меня опросил:\*

- Ты куда-нибудь едешь?
- Нет.
- Да ты во фраке? Я расхохотался.
- Фу, вздор какой! - пробормотал Галахов, схватил шляпу и уехал.

Когда моему сыну было лет пять, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял, постоял, покраснел и с ревом бросился назад.

- Что с тобой, что с тобой? - спрашивали мы все. Заливаясь горькими слезами, он только повторял:
- Там чужой мальчик, его не надо, его не надо.

В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, alter ego<sup>66</sup> и сильно огорчился этим; но сильнее его огорчился сам Галахов; он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом. (109)

В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать >их. Одним из наших разговоров начинается "С того берега". Я читал его начало Галахову; он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки.

С его могилы - перехожу на другую, больше дорогую и больше свежую.

II. На могиле друга.

Он духом чист и благороден был,

Имел он сердце нежное, как ласка,

И дружба с ним мне памятна, как сказка.

...в 1840 году, бывши проездом в Москве, я в Первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготавливался занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал (110) в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на жительство в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного "все равно". Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо "ли неловко до тех "волосных", нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых строй некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого я многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, – в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. "Не все еще погибло, если он продолжает свою речь", – думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание: мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило (111) догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в "гневе своем чувствуют вполне свою жизнь", как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колинъ, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше; воспитанный в Орле, он попал в

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать "по подряду" журнальные статьи. Он и друг его Е. Корш, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское "Библиотеки для чтения".

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем – это важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... "оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга, для деятельной любви – различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство, вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; –человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением; Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду. А Станкевич привил ему поэтически и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом... Ну, а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский, неужели они не лучше поняли – хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его левых и правых последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости – шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какую дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру; Станкевич – в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскоре после его женитьбы. Гармония, окружавшая плавно и покойно его новый быт, подернулась траурным крепом. Следы этого удара долго не проходили, не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу.

Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитора.

Они мне казались братом и сестрой, тем больше что у них не было детей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... в эти-то потерянные часы и ими люди срastaются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил, он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 года. С благочестием и гордостью повторяю я их:

"На дружбу мою к вам двум (то есть к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа. Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего "Крупова"? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: "Не полагай ничего на личное, верь в одно общее", а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя".

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках...

В конце 1843 года я печатал мои статьи о "дилетантизме в науке"; успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с "Отечественными записками" из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

"Лекции Грановского, - сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, - имеют историческое значение". Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свиданья, встречи beau monde<sup>67</sup>. Для этого он не нарядил истории в кружева и блонды, совсем напротив, - его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций а la française<sup>68</sup>, ставящих огромные точки на крошечные и вроде нравочений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная - представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещь неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, - все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с покрасневшими щеками, кричавших сквозь слезы: "Браво! Браво!" Выйти не было возможности; Грановский, бледный, как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице, в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался, измученный, в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета, и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от (116) волнения, взшел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

...Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу римскому отрока-сына за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного -мальчишки!

Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими - в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями и широкоплечий ророланб9, и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко страдавшего человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого; зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти. Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне подали письмо. Я прочитал его, идучи, и истинно - сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрел на все и думал: "Да это вздор! Как? Этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами, - его будто нет?.." Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А. Таландые; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне нужно было знать, что там-вдали, на нашей родине живет этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу - она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни, - как другая, не совсем чуждая ему могила, на которой я был! (117)

Там перечту я строки грустного примирения, которые так близки мне, что я их выпросил в дар нашим воспоминаниям.

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой...

Средь урн надгробных и камней

Свежа была твоя могила

Недавней насыпью своей.

Дары любви, дары печали

Рукой твоих учеников

На ней рассыпаны лежали

Венки из листьев и цветов.

Над ней, суровым дням послушна,

Кладбища сторож вековой,  
Сосна качала равнодушно  
Зелено-грустною главой,  
И речка, берег омывая,  
Волной бесследною вблизи  
Лилась, лилась, не отдыхая,  
Вдоль нескончаемой стези.  
Твоею дружбой не согрета,  
Вдали шла долго жизнь моя,  
И слов последнего привета  
Из уст твоих не слышал я.  
Размолвкой нашей недовольный,  
Ты, может, глубоко скорбел;  
Обиды горькой, но невольной  
Тебе простить я не успел.  
Никто из нас не мог быть злобен,  
Никто, тая строптивый нрав,  
Был повиниться неспособен,  
Но каждый думал, что он прав.  
И ехал я на примиренье,  
Я жаждал искренно сказать  
Тебе сердечное прощенье  
И от тебя его принять...  
Но было поздно...  
В день унылый,  
В глухую осень, одиноком  
Стоял я у твоей могилы и  
И все опомниться не мог.  
Я, стало, не увижу друга?  
Твой взор потух, и навсегда?  
Твой голос смолк среди недуга?  
Меня отныне никогда  
Ты в час свиданья не обнимешь?  
Не молвишь в провод ничего?

Ты сердцем любящим не примешь (118)

Признаний сердца моего?

Все кончено, все невозвратно,

Как правды ужас не таи!

Шептали что-то непонятно

Уста холодные мои,

И дрожь по телу пробегала,

Мне кто-то говорил укор,

К груди рыданье подступало,

Мешался ум, мутился взор,

И кровь по жилам стыла, стыла...

Скорей на воздух! дайте свет!

О! это страшно, страшно было,

Как сон гнетущий или бред...

Я пережил, - и вновь блуждает

Жизнь между дела и утех,

Нов сердце скорбь не заживает,

И слезы чуются сквозь смех.

В наследье мне дала утрата

Портрет с умершего чела,

Гляжу - и будто образ брата

У сердца смерть не отняла.

И вдруг мечта на ум приходит,

Что это только мирный сон;

Он это спит, улыбка бродит,

И завтра вновь проснется он;

Раздастся голос благородный,

И юношам в заветный дар

Он принесет и дух свободный,

И мысли свет, и сердца жар...

Но снова в памяти унылой

Ряд урн надгробных и камней

И насыпь свежая могилы

В цветах и листьях, и над ней,

Дыханью осени послушна,  
Кладбища сторож вековой,  
Сосна качает равнодушно  
Зелено-грустною главой,  
И волны, берег омывая,  
Бегут, спешат, не отдыхая.

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу - "не от того угнетения, против которого восстают люди, (119) а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого".

Передо мною лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

"Положение наше, - пишет он в 1850 году, - становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничили следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В Московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, лицей. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками римской империи, которой недоставало только одного - наследственности!..

...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, - когда же развалится этот мир?..

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать - пусть выгонят сами.

...Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? ведь это не было бы глупее остального".

Осенью 1853 года он пишет: "Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (то есть при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет; только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время - еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется".

Одно из последних писем он заключает так: "Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, - а выхода нет живому".

Быстро на нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнью осматриваюсь назад, точно на поле сражения - мертвые да изуродованные...

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности, это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми наоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудитории не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них, с Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет тридцати пяти от роду. Эллинист Печерин побился, побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии. Редкин постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами. Крылов - но довольно. *La toile! La toile!*<sup>70</sup> (121)

#### ГЛАВА XXX. НЕ НАШИ

Славянофилы и панславизм. - Хомяков, Киреевские, К. Аксаков. - П. Я. Чаадаев.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая - и мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно.

"Колокол", лист 90 (На смерть К. С. Аксакова).

#### I

Рядом с нашим кругом были наши противники, *nos amis les ennemis*<sup>71</sup> или, вернее, *nos ennemis les amis*<sup>72</sup>, - московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно - этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но принимая за серьезное их православие, но видя их церковную нетерпимость в обе стороны, в сторону науки и в сторону раскола, - мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, (122) а в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрием искусственной цивилизации.

Идея народности, сама по себе, идея консервативная - выгораживание своих прав, противоположение себя другому; в ней есть и юдаическое понятие о превосходстве племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность, как знамя, как боевой крик, только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства со всеми их преувеличениями исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время Пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам, в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят, они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противопоставить нашу

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого учения было совершенно на месте; но если б у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как "Домострой" и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм, при появлении своем, был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с Тейчтумом<sup>73</sup>, шедшим на воскресение счастливых времен (123) Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался ту же, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовал со времени обривания первой бороды Петром I.

Противодействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками, в виде буйных стрельцов, отравленное в рavelине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

Все раскольники - славянофилы.

Все белое и черное духовенство - славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая де Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Але(124)ксандре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее переключивали на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien n e, que la patrie est chere!<sup>74</sup>

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцузенный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru По мере того, как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лезть "Северной пчелы", с другой - в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую - Манчестером, Шебуева - Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды...

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, изобретением народного гимна по Себастиану Баху<sup>75</sup> и Прокопием Ляпуновым - по Шиллеру<sup>76</sup>. (125)

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь православия, самодержавия и народности, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало - дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и "Рукой всевышнего отечество спасла".

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастьем. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния, что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше, чем иностранец, больше, чем свой, - он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек красного православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и сло(126)ваков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: "Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц - немец; я сбегая его прирезать и сейчас возвращусь".

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в тостах партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении "Письма" Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

"Письмо" Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою габель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, - все равно, надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнущей к независимому говору, что "Письмо" Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После "Горе от ума" не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними - десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, посланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала - но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно - да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
сказать свое *lasciate ogni speranza*77. (127)

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку "Телескопа". Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать "Телескоп" – "Философские письма", писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать "критику" и "смесь".

Наконец дошел черед и до "Письма". Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... читаю далее, – "Письмо" растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

. Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски неизвестным автором... я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал "Письмо" Витбергу, потом Скворцову, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России протрещала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было что-то на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал что. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. "Письмо" Чаадаева безжалостный крик боли и упрека петровской России, она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущее для нее вовсе нет, что это "пробел разума, гроз(128)ный урок, данный народам, – до чего отчуждение и рабство могут довести". Это было покаяние и обвинение; знать вперед, чем примириться, – не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине, – шутка, и искупление неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забытые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, то есть выдавали за своей подписью пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению, – умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволия власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я .видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взшел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

– Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
- А вы думаете, - сказал Чаадаев, - что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти. Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях. (129)

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фонде московской high life<sup>78</sup>. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас; лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, "чело, как череп голый", серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и - воплощенным veto<sup>79</sup>, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским, обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе, они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать его, звать... и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди. Он, правда, по словам Пушкина, в Риме был бы Брут, а Афинах - Периклес, но здесь, под гнетом власти царской, он только офицер гусарской...

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете, в Старой Басманной, толпились по понедельникам "тузы" Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, (130) зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого американца Толстого и дикого генерал-адъютанта Шилова, уничтожавшего просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им и ними<sup>80</sup>. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место, вопреки высочайшему повелению. Насколько" власть "безумного" ротмистра Чаадаева была признана, настолько "безумная" власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного, именно поэтому оно смахивает на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела. Государь находился тогда, (131) помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости - отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаев не торопился в Россию, расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного преследования<sup>81</sup>), около 1830 года он возвратился.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем "Письме" он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом, ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником "Voix du Peuple". В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не религии и не ведения, этой умеренной теологии образованных мещан, "атеизма, окруженного религиозными учреждениями".

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ставит мистическую формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Краоинский, продолжающие быть мессианистами, - то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько (132) забыли; стоит вспомнить "Историю" Волабеля, "Письма" легионера Морган, "Записки" Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властью, лукавый монархизм - с другой, целомудренно прикрывался листом хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в средние века, в мистицизм, - читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму своего века. .

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, сгнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противуречий своим высшим единством, своей вечной фата-морганой, своим *urbī et orbī*<sup>82</sup>, своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных летах.

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарения Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль alexандровских времен - все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседа, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой шеей a l'enfant<sup>83</sup> или учившиеся по пансионам и лицеям; были молодые ли(133)тераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву, между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,  
Заря пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
И на обломках самовластья

Напишут наши имена.

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон, и Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли былое?

Давно ль с восторгом молодым

Я мыслил имя роковое

Поедать развалинам иным?

...Но в сердце, бурями смиренном,

Теперь и лень, и тишина,

И в умиление вдохновенном,

На камне, дружбой освященном,

Пишу я наши имена!

В мире не было ничего противоположнее славянам, как безнадежный взгляд Чадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

"В Москве, - говаривал Чадаев, - каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; (134) или, может, этот большой колокол без языка-гаероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как. будто удивляясь, что имеет слово человеческое"<sup>84</sup>.

Чадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни, - сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: "Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы - где же выход?"

"Его нет", - отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. "История других народов - повесть их освобождения. Русская история - развитие крепостного состояния и самодержавия". Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей, - просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством - пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь... это почти значило "пора умереть", и Чадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси, взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было пронизательнее их разума. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, - не смертельная болезнь. И в то время как у Чадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа - у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа. (135)

"Выход за нами, - говорили славяне, - выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство, воротимся к прежним нравам!"

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты, не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 термидору. Случившееся стоит писанного его не вырубить топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика – а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к- современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам.

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А. К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за пероанина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов – принимая его совсем готовым. Они полагали, что делить предрассудки народа – значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе, – великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству – другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли, – в этом, конечно, наше призвание. Но не (136) надобно ошибаться; все это далеко за пределом государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в "Уложении" уже нет и помину цаловальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь. То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь только всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта – не воспоминания, это – живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только уцелели под трудным историческим выработыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибýtка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, – все это краеугольные камни, на которых соиздётся храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни – все же камни... и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно социального, оно невольно влечет к круговой поруке народов... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, дру(137)гие – при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа,



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самостоятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко "убаюкиваются своими песнями", как заметил один византийский летописец, "и дремлют". Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непонянья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством – монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

"Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию современного европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм, или в безвыходное неустройство?"

Эта неспособность и эта неполнота – великие таланты в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским тронном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастье старших братии. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные (138) римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм – выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную неспособность к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм – военный стан, империя – война, император – военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома – внизу, на дне – и там, за Неманом.

Начавшаяся теперь война<sup>85</sup> может иметь перемирие, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседельным деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить третью личность, немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой – на Тихом океане.

Помирятся ли эти трое, померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессилевшая Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца, – одна вещь признана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений, это – то, что разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и (139) чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры" в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и проч. и проч.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы слышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну молодую Москву, литературносветскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися "книжками и мыслями", я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна (140) и пошла - без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмошкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтобы не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Редкин выводил логически личного бога, *ab majorem gloriam Negeli* 186; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало.

Вообще в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий - Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава. Помещичья распушенность, признаться сказать, нам по душе; в ней есть своя ширь, которую мы не находим в мещанской жизни Запада. Подобострастный клиентизм, о котором говорит девица Вильмот в "Записках" Дашковой и который я сам еще застал - в тех кругах, о которых идет речь, не суще(141)ствовал. Хор этого общества был составлен из неслужащих помещиков или служащих не для себя, а для успокоения родственников, людей достаточных, из молодых литераторов и профессоров. В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведенных в косный порядок обычаев,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru которой нет в старой европейской жизни, и в то же время в нем сохранилась привита нам воспитанием традиция западной вежливости, которая на Западе исчезает; она с примесью славянского *laissez-aller*<sup>87</sup>, а подчас и разгула, составляла особый русский характер московского общества, к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть парижским, и это хотение, наверное, осталось.

Мы Европу все еще знаем задним числом; нам всем мерещатся те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь; когда приезд Давида Юма в Париж сделал эпоху и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень, Гримм, надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове времена вечеров барона Гольбаха и первого представления "Фигаро", когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтоб добиться места и увидеть революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале (граф Прованский, то есть будущий Людовик XVIII, в роли Фигаро, Мария-Антуанетта - в роли Сусанны!).

Tempi passati...<sup>88</sup> Не только гостинные XVIII столетия не существуют, - эти удивительные гостинные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция, - но и таких гостинных больше нет, как бывали, например, у Стааль, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литераторы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем; партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей.

Один из последних опытов "гостиной" в прежнем смысле слова не удался и потух вместе с хозяйкой. (142) Дельфина Гэ истощала все свои таланты, блестящий ум на то, чтоб как-нибудь сохранить приличный мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей.

Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантией с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая Каменного гостя ликвидации... Не легкая "козри"<sup>89</sup> нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в Первой империи, вытесняет искусство, лоретка - даму, биржевой игрок - литератора.

Это распадение общества не в одном Париже. Ж. Санд была живым средоточием всего своего соседства в Ноане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации, и, что всего важнее, тут была сама Ж. Санд. С 1852 года тон начал меняться, добродушные беришоны уже не приезжали затем, чтоб отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею, другие боялись доносов; принужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать до того надоела, намучила Ж. Санд, что она решила прекратить свои ноанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля...

...Говорят, Москва - молодая Москва, - состарелась, не пережила Николая; что и университет ее измелечал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Английский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи кричат против освобождения я Ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян. Может быть!., но не такова была Москва сороковых годов, и вот эта-то Москва и при(143)нимала деятельное участие за мурمولки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К- Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, - а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у\* Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, "Горгиас, совопросник мира сего", по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колот, нападал и преследовал, осыпал остроумными и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, - словом, кого за убеждение - убеждение прочь, кого за логику - логику прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый брестер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете - от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли >и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли у него у самого что-нибудь заветное. Он мастерски (144) ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, как казалось, от души. Я говорю "как казалось", потому что в нескольких восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он вообще больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность - способность развивать зародыши, или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (то есть даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и проч. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в "материализм", от которого они стыдливо отрекались, или в "атеизм", которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!

Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой кривой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.

- Знаете ли что, - сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, - не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе как простое, непрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

- Я вам и не говорил, - ответил я ему, - что я берусь это доказывать, - я очень хорошо знал, что это невозможно.

- Как? - сказал Хомяков, несколько удивленный, - вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается? (145)

- Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

- Ну, вы по крайней мере последовательны; однако" как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru к ним!

- Докажите мне, что не наука ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.

- Для этого надобно веру.

- Но, Алексей Степанович, вы знаете: "На нет и суда нет".

Многие - и некогда я сам - думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он, или плакал, это зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, непрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это - теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принял он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение "Европеец". Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй "Европеец" был запрещен. Он поместил в "Деннице" статью о Новикове, - "Денница" была схвачена и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние "Европейцем", (146) уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг - он не вытерпел и уехал в деревню, затаив в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, развела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им, и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:

- Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.

И он, в самом деле, потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг - Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетил несчастье, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:

Погоди немного, Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоим был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облакает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: "Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала (147) она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающей от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону, - тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей".

Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянстве, - натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию - с наукой, западную цивилизацию - с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самообытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо позже) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянством, стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.

Их общее несчастье состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их - юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых (148) годах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это - закал; одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противодействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.

Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками; им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным "Письмом" Чаадаева. . Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломались, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подбострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печерин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянство, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.

В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; докончив в Париже свою забытую трагедию "Ермак" и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастью, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели, и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия - "Дмитрий Самозванец". Опять скука!

В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
ярост(149)нее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.

Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учителя, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.

Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное pytanie почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды, а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой – средой сильной и имевшей над ним большие выгоды; ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.

– Москва – столица русского народа, – говорил он, – а Петербург только резиденция императора.

– И заметьте, – отвечал я ему, – как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту.

"Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей; он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, (150) когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было приехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

– Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. – Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!"<sup>90</sup>

Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил.

Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. "Я жид по натуре, – писал он мне из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал ли я его статью в "Москвитяине"? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видаться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания".

Зато честили его и славяне. "Москвитянин", раздраженный Белинским, раздраженный успехом "Отечественных записок" и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, "радующемся при зрелище пожара".

Впрочем, "Москвитянин" выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но и отчасти правительственной. Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.

Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели (151) "Москвитянина", совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев, - не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин - из ненависти к аристократии.

Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою сторону, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, может быть, при Александре II. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью, - нелепо и вредно.

Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?

Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то, что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски. Его шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызанные отметки и нежеванные мысли, вдохновил меня как-то в старые годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из "Путевых записок Вёдрины". Строгонов (попечитель), читая их, сказал:

- А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.

Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь, как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противоположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндаля, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.

152

Говоря о слоге этих сиамских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера - по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: "Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!"

Тем не меньше, хотя и дурным слогом, но близнецы "Москвитянина" стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстанавливал против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному порядку идей, за которые Николай из идеи порядка ковал в цепи да посылал в Нерчинск.

Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю? "Меня обвиняют, - сказал Грановский, - в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий".

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции - так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилии вместо е и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим *soprano*: "Он и с е хорош, он и с е русский". (153) С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.

Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, то есть когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, то есть сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением.

С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в "Отечественных записках". Наконец он торжественно указал пальцем против "проказы" славянофильства и с упреком повторил: "Вот вам они!", мы все понурили голову. Белинский был прав!

Умиравшей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастью, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием "Не наши" он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского - лжеучителем, растляющим юношей, меня - слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех изменниками отечеству. Конечно, он не называл нас по имени, - их добавляли чтецы, носившие с восхищением из зала в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами, резко клеймя злые нападки и называя "не нашими" разных славян, во Христе-боже нашем жандармствующих.

Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался, - все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастью, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.

Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще (154) и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке и проч.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти, - это та, в которой он говорил о книге Мишле "Le Peuple"<sup>92</sup> и о романе Ж. Санд "La Mare au Diable"<sup>93</sup>, потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса. Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхвалявая греко-российскую церковь. Только Федор Глинки и супруга его Евдокия, писавшая "о млеке пречистой девы", сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.

Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи, - выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.

Между тем "каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться" хорошо издавать "Москвитянина", он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели "Москвитянина" вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились предложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.

Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь; конь сильно ему приглянулся; кучер, видя (155) это, набавил цену; они поторговались, офицер согласился и взшел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: "Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять..." Где же лучше можно было взять редактора?

Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не мог ничего сделать. "Москвитянин" не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неудача должна была сильно огорчить Киреевского.

После второго крушения "Москвитянина" он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.

На этот раз победителями (вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда "Москвитянин" тонул и "Маяк" не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью "Отечественные записки", поставил на ноги их побочного сына и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие, – в то время, как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей "Москвитянину".

Так я оставил поле битвы и уехал из России. Обе стороны высказались еще раз94, и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.

Умер Николай; новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где (156) они? – Ушли! и К. Аксаков ушел, и нет этих "Противников, которые были ближе нам многих своих".

Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.

Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову:

"Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причетом, пугавшие

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое – что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, (157) это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока

Mutter, Mutter, lass mich gehen,

Schweifen auf den wilden hohen!95

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на понимание нет; время, история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы – их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они – в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!"96

#### ГЛАВА XXXI

Кончина моего отца. – Наследство. – Дележ – Два племянника.

С конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались; он явным образом гаснул, особенно со смерти Сенатора, умершего совершенно последовательно всей своей жизни, невзначай и чуть-чуть не в карете. В 1839 году, одним вечером, он, по обыкновению, сидел у моего отца; приехал он из какой-то агрономической школы, привез модель какой-то агрономической машины, употребление которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и в одиннадцать часов вечера уехал домой.

Он имел обыкновение дома очень немного закусывать и выпивать рюмку красного вина; на этот раз он отка(158)зался и, сказав моему старому другу Кало, что он что-то устал и хочет лечь, отпустил его. Кало помог ему раздеться, поставил у кровати свечу и вышел; едва дошел он до своей комнаты и успел снять с себя фрак, как Сенатор дернул звонок; Кало бросился – старик лежал возле постели мертвый.

Случай этот сильно потряс моего отца и испугал; одиночество его усугублялось, страшный черед был возле: три старших брата были схоронены. Он стал мрачнее и хотя, по обыкновению своему, скрывал свои чувства и продолжал ту же холодную роль, но мышцы изменяли, – я с намерением говорю "мышцы", потому что мозг и нервы у него остались те же до самой кончины.

В апреле 1846 лицо старика стало принимать предсмертный вид, глаза потухали; он уже был так худ, что часто, показывая мне свою руку, говорил:

– Скелет совсем готов, стоит только снять кожу.

Голос его стал тише, он говорил медленнее; но ум, память и характер были как всегда – та же ирония, то же постоянное недовольство всеми и та же раздражительная капризность.

– Помните, – спросил дней за десять до кончины кто-то из его старых знакомых, – кто был наш поверенный в делах в Турине после войны? Вы его знавали за границей.

– Северин, – отвечал старик, едва подумавши несколько секунд.

Третьего мая я его застал в постеле; щеки горели лихорадочно, что у него почти никогда не бывало; он был беспокоен и говорил, что не может встать; потом велел себе поставить пиявки и, лежа в постеле во время этой операции, продолжал свои колкие замечания.

– А! ты здесь, – сказал он, будто я только что взшел. – Ты бы, любезный друг, съездил куда-нибудь рассеяться, это очень меланхолическое зрелище смотреть, как разлагается человек: *cela donne des pensees noires!*97 да вот прежде дай-ка

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
мальчику гривенник на водку.

Я пошарил в кармане, ничего не нашел меньше четвертака и хотел дать, но больной увидел и сказал:

- Какой ты скучный; я тебе сказал - гривенник.

- У меня нету с собой. (159)

- Подай мой кошелек из бюро, - и он, долго искавши, нашел гривенник.

Взошел Голохвастов, племянник моего отца; старик молчал. Чтоб что-нибудь сказать, Голохвастов заметил, что он сейчас от генерал-губернатора; больной при этом слове дотронулся, по-военному, пальцем до черной бархатной шапочки: я так хорошо изучил все его движения, что тотчас понял, в чем дело: Голохвастову следовало сказать "у Щербатова".

- Представьте, какая странность, - продолжал тот, - у него открылась каменная болезнь.

- Отчего же странно, что у генерал-губернатора открылась каменная болезнь?-спросил медленно больной.

- Как же, топ oncle98, ему с лишком семьдесят лет, и в первый раз открылся камень.

- Да, вот и я, хоть и не генерал-губернатор, а тоже очень странно, мне семьдесят шесть лет, и я в первый раз умираю.

Он действительно чувствовал свое положение; это-то и придавало его иронии какой-то макабрский<sup>99</sup> характер, заставлявший разом улыбаться и цепенеть от ужаса. Камердинер его, который всегда по вечерам делал мелкие домашние доклады, сказал, что хомут у водовозной лошади очень худ и что следует купить новый.

- Какой ты чудак, - отвечал ему мой отец, - человек отходит, а ты ему толкуешь о хомуте. погоди денек-другой, как отнесешь меня в залу на стол, тогда доложи ему (он указал на меня), он тебе велит купить не только хомут, но седло и вожжи, которых совсем не нужно.

Пятого мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернели, старик, видимо, тлел от внутреннего огня. Говорил он мало, но с совершенным присутствием духа; утром он спросил кофею, бульону... и часто пил какую-то тизану<sup>100</sup>. В сумерки он подозвал меня и сказал:

- Конечно, - при этом он провел рукой, как саблей или косой, по одеялу. Я прижал к губам его руку, - она была горяча. Он хотел что-то сказать, начинал... и, ничего не сказавши, заключил: (160)

- Ну, да ты знаешь, - и обратился к Г. И., стоявшему по другую сторону кровати:

- Тяжело, - сказал он ему и остановил на нем томный взгляд.

Г. И. - заведовавший тогда делами моего отца, человек чрезвычайно честный и пользовавшийся его доверием больше других, наклонился к больному и сказал:

- Все до сих пор употребленные нами средства остались безуспешными, позвольте мне вам посоветовать прибегнуть к другому лекарству.

- К какому лекарству? - спросил больной.

- Не пригласить ли священника?

- Ох, - сказал старик, обращаясь ко мне, - я думал, что Г. И. в самом деле хочет посоветовать какое-нибудь лекарство.

Вскоре потом он уснул. Сон этот продолжался до следующего утра, должно быть, это было забытье. Болезнь за ночь сделала страшный успех; конец был близок, я в девять часов послал верхового за Голохвастовым.

В половину одиннадцатого больной потребовал одеться. Он не мог ни стать на ноги, ни верно взять что-нибудь рукой, но тотчас заметил, что серебряной пряжки, которой застывались панталоны, не доставало, и велел ее принести. Одевшись, он перешел, поддерживаемый нами, в свой кабинет. Там стояли большие вольтеровские кресла и узенькая, жесткая кушетка, он велел себя положить на нее, тут он сказал несколько слов непонятно и бессвязно, но минут через пять раскрыл глаза и, встретив взором Голохвастова, спросил его:

- Что так раненко пожаловал?

- Я, дядюшка, был тут поблизости, - отвечал Голохвастов, - так захотел узнать о вашем здоровье.

Старик улыбнулся, как бы говоря: "Не проведешь, любезный друг". Потом спросил свою табатерку; я подал ее ему и раскрыл, но, делая долгие усилия, он не мог настолько свести пальцы, чтобы взять табак; его, казалось, поразило это, мрачно посмотрел он вокруг себя, и снова туча набежала на мозг, он сказал несколько невнятных слов, потом спросил:

- Как, бишь, называются вот эти трубки, что через воду курят?

- Кальян, - заметил Голохвастов.

- Да, да... мой кальян, - и ничего. (161)

Между тем Голохвастов приготовил за дверями священника с дарами, он громко спросил больного, желает ли он его принять; старик раскрыл глаза и кивнул головой. Ключарев растворил дверь, и взшел священник..., отец мой был снова в забытьи, но несколько слов, сказанные протяжно, и еще больше запах ладана разбудили его, он перекрестился; священник подошел, мы отступили.

После церемонии больной увидел доктора Левенталья, усердно писавшего рецепт.

- Что вы пишете? - спросил он.

-- Рецепт для вас.

- Какой рецепт, или мошус, что ли? Как вам не стыдно, вы бы опиума прописали, чтоб спокойнее отойти... Подымите меня, я хочу сесть на кресла, прибавил он, обращаясь к нам. Это были последние слова, сказанные им в связи.

Мы подняли умирающего и посадили.

- Подвиньте меня к столу.

Мы подвинули. Он слабо посмотрел на всех.

- Это кто? - спросил он, указывая на М. К. Я назвал.

Ему хотелось опереть голову на руку, но рука опустилась и упала на стол, как неживая; я подставил свою. Он два раза взглянул томно, болезненно, как будто просил помощи; лицо принимало больше и больше выражение покоя и тишины... вздох, еще вздох, - и голова, отяжелевшая на моей руке, стала стынуть... Все в комнате хранило несколько минут мертвое молчание.

Это было шестого мая 1846 года, около трех часов пополудни.

Торжественно и пышно был он схоронен в Девичьем монастыре; два семейства крестьян, отпущенных им на волю, пришли из Покровского, чтоб нести гроб на руках; мы шли за ними; факелы, певчие, попы, архимандриты, архиерей... потрясающее душу "со святыми упокой", а потом могила и тяжелое падение земли на крышу гроба, - тем и кончилась длинная жизнь старика, так упрямо и сильно державшего в руке своей власть над домом, так тяготевшего надо всем окружающим, и вдруг его влияние исчезло, его воля исключена, его нет, совсем нет!

Могилу засыпали, попов и монахов повели обедать, я не пошел, а отправился домой, экипажи разъезжались; нищие толкались около монастырских ворот; крестьяне (162)

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru стояли в кучке, обтирая пот с лица; я всех их знал коротко, простился с ними, поблагодарил их и уехал.

Перед кончиной моего отца мы почти совсем переехали из маленького дома в большой, в котором он жил, а потому и не удивительно, что в суете первых трех дней я не успел оглядеться, но теперь, возвращаясь с похорон, как-то странно сжалось сердце; на дворе, в сенях меня встретили слуги, мужчины и женщины, прося покровительства и защиты (почему, я сейчас объясню); в зале пахло ладаном, я взвошел в комнату, в которой стояла постель моего отца; она была вынесена; дверь, к которой столько лет не только люди, но и я сам, подходили, осторожно ступая, была настежь, и горничная в углу накрывала небольшой стол. Все адресовалось ко мне за приказаниями. Мое новое положение было мне противно, оскорбительно, – все это, этот дом принадлежит мне оттого, что кто-то умер, и этот кто-то – мой отец. Мне казалось, в этом грубом завладении было что-то нечистое, словно я обкрадывал покойника.

Наследство имеет в себе сторону глубоко безнравственную: оно искажает законную печаль о потере близкого лица введением во владение его вещами.

По счастью, нас избежало другое отвратительное последствие его – дикие распри, безобразные ссоры делящих добычу возле гроба. Раздел всего имения сделан в какие-нибудь два часа времени, при которых никто не сказал ни одного холодного слова, никто не возвысил голоса и после которого все разошлись с большим уважением друг к другу. Факт этот, главная честь которого принадлежит Голохвастову, заслуживает, чтоб об нем сказать несколько слов.

При жизни Сенатора он и мой отец сделали взаимное завещание родового имения друг другу с тем, чтоб последний передал его Голохвастову. Часть своего имения отец мой продал и капитал этот назначил нам. Потом он дал мне небольшое имение в Костромской губернии, и это по настоятельному требованию Ольги Александровны Жеребцовой. Имение это и теперь находится под секвестром, который правительство, вопреки закона, наложило прежде, чем мне был сделан запрос, хочу ли я возвратиться. После смерти Сенатора мой отец продал его тверское имение. Пока собственное родовое имение моего отца покрывало проданное им из принадлежавшего его брату, Голохвастов молчал. Но когда у старика явилась мысль (163) отдать мне подмосковную с тем, чтоб я деньгами заплатил, по назначению его, долю моему брату и долю другим лицам, тогда Голохвастов заметил, что это несообразно с волею покойника, хотевшего, чтоб имение перешло к нему. Старик, не выносивший ни в чем ни малейшей оппозиции, особенно таким планам, которые он долго обдумывал и потому считал непогрешительными, осыпал племянника колкостями. Голохвастов отказался от всякого участия в его делах и пуще всего от звания душеприказчика. Размолвка сначала пошла так круто, что они было прервали все сношения.

Удар этот был не легок старику. Мало было людей на свете, которых бы он в самом деле любил; Голохвастов был в том числе. Он вырос на его глазах, им гордилась вся семья, к нему отец мой имел большое доверие, его он ставил мне всегда в образец, и вдруг "Митя, сын сестры Лизаветы" в ссоре, отказывается от распоряжений, заявляет свое veto, и уже из-за него видны иронические глаза Химика, с улыбкой потирающего свой нос пальцами, обожженными селитряной кислотой.

По обыкновению, отец мой не показывал ни малейшего вида, что это огорчает его, и избегал разговора о Голохвастове, но заметно стал угрюмее, беспокойнее и чаще говорил об "ужасном веке, в котором ослабли все узы родства и старшие не находят больше того уважения, каким были окружены в счастливые времена", вероятно, когда представительницей всех семейных добродетелей была Екатерина II!

В начале этой ссоры я был в Соколове и едва мельком слышал о ней, но на другой день после моего возвращения в Москву рано утром приехал ко мне Голохвастов. Большой педант и формалист, он пространно, хорошим и правильным слогом рассказал мне все дело, прибавил, что именно потому поторопился приехать, чтоб предупредить меня, в чем дело, прежде чем я услышу что-нибудь о размолвке.

– Недаром, – сказал я ему шутя, – меня зовут Александром: этот гордиев узел я вам тотчас разрублю. Вы должны во что б то ни стало помириться, и для того, чтоб уничтожить спорный предмет, я скажу вам прямо и решительно, что я отказываюсь от Покровского, а там одних лесных дач будет довольно, чтоб покрыть потерю тверского имения. (164)

Голохвастов несколько смешался и поэтому еще больше доказывал мне все то, что я так хорошо понял по первым двум словам. Мы с ним расстались в самых лучших отношениях.

Через несколько дней мой отец как-то вечером сам заговорил о Голохвастове. По своему обыкновению, когда он был недоволен кем-нибудь, он не оставил в нем ни одного здорового места. Идеал, на который он мне указывал с десятилетнего возраста, этот образцовый сын, этот примерный брат, этот лучший племянник в мире, этот благовоспитанный человек по превосходству, этот человек, наконец, одевающийся до того хорошо, что никогда узел галстука не был ни велик, нimal, - этот человек являлся теперь в каком-то отрицательном фотографическом снимке, так что впадины были выпуклы, а белые места черны.

Переход к простой брани был бы слишком крут и заметен без разных переливов, оттенков и мостов. Такой непоследовательности отец мой при своем уме не мог сделать.

- Да, скажи, пожалуйста, - все забываю тебя спросить, - виделся ты с Дмитрием Павловичем (он его всегда звал Митя) после твоего возвращения?

- Один раз.

- Ну что, как его превосходительство?

- - Ничего, здоров.

- Очень хорошо, что ты с ним выдаешься; таких людей надобно держаться. Я его люблю и привык любить, да он всего этого и заслуживает. Конечно, есть и у него свои, и пресмешные, недостатки... но один бог без греха. Скорая карьера вскружила ему голову... ну, молод в аннинской ленте; к тому же род его службы такой: ездит куратором учеников бранить да все с школярами привык говорить свысока... поучает их, те слушают его навтыяжке... он и думает, что со всеми можно говорить тем же тоном. Не знаю, заметил ли ты - даже голос у него переменялся? Я помню, при покойной императрице князь Прозоровский таким же резким голосом приказывал своим ординарцам. Ридикулярно<sup>101</sup> сказать приехал вдруг ко мне выговор читать. Я слушаю его и думаю: что, если бы покойница сестра Лизавета могла видеть это! Я ее с рук на руки Павлу Ивановичу передал в день их венчания, а тут ее сын: (165)

- Да, дядюшка, кричит, если так, вы уж лучше обратитесь к Алексею Александровичу, а меня прошу извинить.

- Я, ты знаешь: одна нога в гробу, бездна забот, болезни, ну, Иов многострадальный. А он кричит, распалахнулся в лице... *Que! siecle!*<sup>102</sup> я знаю, ну, он тривык в декастериях... ведь он никуда не ездит, а любит распоряжаться дома со старостами да с конюхами, - а тут эти писаришки - все "вашпревосходительство! вашпревосходительство!" - ну, затмение...

Словом, как в портрете Людовика-Филиппа, изменяя слегка черты, последовательно доходишь от спелого старика до гнилой груши, так и "образцовый Митя" - оттенок за оттенком - под конец уж как-то стал сбиваться на Картуша или на Шемяку.

Когда последние удары кистью были кончены, я рассказал весь мой разговор с Голохвастовым. Старик выслушал внимательно, насупил брови, потом, продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табак, сказал мне:

- Ты, пожалуйста, любезный друг, не думай, что ты меня очень затруднил тем, что отказываешься от Покровского... Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь: "возьмите, мол, мое имение", и тебе кланяться не стану. Охотники найдутся. Все контркарюют<sup>103</sup> мои проекты; мне это надоело, -отдам все в больницу - больные будут добром поминать. Не только Митя, уж ты, наконец, учишь меня распоряжаться моим добром, а давно ли вера тебя в корыте мыла? Нет, устал, пора в отставку; я и сам пойду в больницу.

Так разговор и окончился.

На другой день, часов в одиннадцать утром, отец прислал за мной своего

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru камердинера. Это случалось очень редко; обыкновенно я заходил к нему перед обедом или если не обедал у него, то приходил к чаю.

Я застал старика перед его письменным столом, в очках и за какими-то бумагами.

- Поди-ка сюда, да, если можешь подарить мне часик времени... помоги-ка тут мне в порядок привести разные записки. Я знаю, ты занят, всё статейки пишешь - литератор... видел я как-то в "Отечественной почте" твою статью, ничего не понял, - все такие термины мудреные. Да уж (166) и литература-то такая... Прежде писывали Державин, Дмитриев, а нынче ты... да мой племянник Огарев. Хотя, по правде сказать, лучше дома сидеть и писать всякие пустяки, чем в санках да к Яру, да шампанское.

Я слушал и никак не понимал, куда идет это *captatio benevolentiae*<sup>104</sup>.

- Садись-ка вот здесь, прочти эту бумагу и скажи твое мнение.

Это было духовное завещание и несколько прибавлений к нему. С его точки зрения, это было высшее доверие, которое он мог оказать.

Странный психологический факт. В продолжение чтения и разговора я заметил две вещи: во-первых, что ему хотелось помириться с Голохвастовым, а во-вторых, что он очень оценил мой отказ от имения, и в самом деле с этого времени, то есть с октября месяца 1845, и до своей кончины он во всех случаях показывал не только доверие, но иногда советовался со мной и даже раза два поступил по моему совету.  
\*

А что бы подумал человек, который бы вчера подслушал наш разговор? В ответе моего отца насчет Покровского я не изменил ни йоты, я очень помню его.

Завещание в главной части было просто и ясно: он оставлял все недвижимое имение Голохвастову, все движимое, капитал и дома моей матери, брату и мне, с условием равного раздела. Зато прибавочные статьи, написанные на разных лоскутках без чисел, далеко не были просты. Ответственность, которую он клал на нас и в особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности неприятна. Они противуречили друг другу и носили тот характер неопределенности, из-за которого обыкновенно выходят безобразные ссоры и обвинения.

Например, там были такие вещи: "Всех дворовых людей, хорошо и усердно мне служивших, отпускаю я на волю и поручаю вам выдать им денежные награждения по заслугам".

В одной записке было сказано, что старый каменный дом оставляется Г. И. В другой - дом имел иное назначение, а Г. И. оставлялись деньги, но вовсе не было сказано, чтоб эти деньги шли взамен дома. По одному прибавлению, отец мой оставлял десять тысяч (167) серебром одному родственнику, а по другому - он оставлял его сестре небольшое имение с тем, чтоб она отдала своему брату эти десять тысяч серебром.

Надобно заметить, что о половине этих распоряжений я прежде слышал от него, и не я один. Старик много раз при мне говорил, например, о доме Г. И. и советовал ему даже переехать в него.

Я предложил моему отцу пригласить Голохвастова и поручить ему с Г. И. составить общую записку.

- Конечно, - говорил он, - Митя мог бы помочь, да ведь он очень занят. Знаешь, эти государственные люди... Что ему до умирающего дяди, - он все семинарии ревизует.

- Он наверно приедет, - заметил я, - это дело слишком важно для него.

- Я всегда рад его видеть. Только не всегда у меня голова достаточно здорова говорить о делах. Митя, *il est tres verbeux*<sup>105</sup>, он заговорит меня, а у меня сейчас мысли кругом пойдут. Ты лучше свези к нему все эти бумаги, да пусть он прежде на маржах<sup>106</sup> поставит свои замечания.

Дни через два Голохвастов приехал сам; он, как большой формалист, перепугался



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru больше меня беспорядка, а как классик, выразился об этом так: "mais, mon cher, cest le testament d'Alexandre le Grand"<sup>107</sup>. Мой отец, как всегда в подобных случаях бывало, представил себя вдвое больше больным, говорил Голохвастову косвенные колкости, потом обнял его, тронул щекой его щеку, и семейное Кампо-формио было заключено.

Насколько мы могли, мы уговорили старика переменить редакцию его прибавлений и сделать одну записку. Он сам хотел ее написать и не кончил в продолжение шести месяцев.

Вслед за разделом явился, естественно, вопрос, кто же поступает на волю и кто нет? Что касается до денежного награждения, я уговорил моего отца определить сумму; после долгих прений он назначил три тысячи рублей серебром. Голохвастов объявил людям, что, не зная, кто именно служил в доме и как, он предоставляет мне разбор их прав. Я начал с того, что поместил в список всех до (168) одного из служивших в доме. Но когда разнесся слух о моем листе, на меня хлынули со всех сторон какие-то дворовые прошлых поколений, с дурно бритыми седыми подбородками, плешивые, обтерханые, с тем неверным качанием головы и трясением рук, которые приобретаются двумя-тремя десятками лет пьянства, старухи, сморщившиеся и в чепцах с огромными оборками, заочные крестники и крестницы, о христианском существовании которых я не имел понятия. Одних из этих людей я совсем не видывал, других помнил как во сне; наконец явились и такие, о которых я наверно знал, что они никогда не служили у нас в доме, а вечно ходили по паспорту, другие когда-то жили, и то не у нас, а у Сенатора, или пребывали спокон века в деревне. Если б эти разбитые на ноги старики и уменьшившиеся в росте и закоптевшие от лет старухи хотели вольную для себя, беда была бы не велика; совсем напротив, они-то и были готовы окончить век свой за Дмитрием Павловичем, но у каждого почти нашлись сыновья, дочери, внучата. Призадумался я, думал, думал, да и дал всем им свидетельства. Голохвастов очень хорошо понял, что половина этих незнакомцев никогда не была на службе, но, видя мои свидетельства, велел всем писать отпускные; когда мы их подписывали, он, почесывая пальцем волосы, сказал мне, улыбаясь:

- Я думаю, мы тут и чужих несколько человек отпустили.

Голохвастов был в своем роде тоже оригинальное лицо, как вся семья моего отца.

Меньшая сестра моего отца была замужем за старым, старинным столбовым и очень богатым русским барином Павлом Ивановичем Голохвастовым - Голохвастовы мелькают там-сям в русской истории со времен Грозного; при Самозванце, во время междоусобия встречаются их имена. Келарь Авраамий Палицын навлек на себя сначала гнев Дмитрия Павловича, а потом предлинную статью, неосторожно отозвавшись об одном из предков его в своем сказании об осаде Троице-Сергиевской лавры.

Павел Иванович был угрюмый, скупой, но чрезвычайно честный и деловой человек. Мы видели, как он помешал моему отцу уехать из Москвы в 1812 году и как умер потом в деревне от удара.

У него остались два сына и дочь. Они жили с матерью в том самом большом доме на Тверской, которого пожар (169) так поразил старика<sup>108</sup>. Несколько строгий, скупой и тяжелый тон, введенный стариком, пережил его. В доме их царствовала обдуманная, важная скука и официально учтивый, благосклонный тон с чувством собственного достоинства, который а la longue<sup>109</sup> чрезвычайно надоедал. Большие и хорошо убранные комнаты были слишком пусты и беззвучны. Молча сидела, бывало, за своей работой дочь; мать, сохранившая следы большой красоты и тогда еще не старая, лет сорока пяти с чем-нибудь, начинала хворать и обыкновенно лежала на софе; обе говорили протяжно и несколько нараспев, как тогда вообще говорили московские дамы и девицы. Дмитрий Павлович лет восемнадцати походил на сорокалетнего мужчину. Меньшой брат был живее его, но зато его почти никогда не было налицо...

...И все-то это примерло... А я еще помню, когда мать дала Дмитрию Павловичу торжественную инвестицию<sup>110</sup> на полное распоряжение лошадей и дрожками. Их бывший гувернер Маршалль, превосходный человек, послуживший мне когда-то типом Жозефа в "кто виноват?", давал мне уроки после Бушо.

Как ни обходи, ни маскируй, как умно ни разрешай эти тревожные вопросы о жизни,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
смерти, судьбе, они все-таки являются с своими могильными крестами и с той будто неуместной улыбкой, которая остается на ослабившихся челюстях мертвой головы!

А если раздумаешься, то сам увидишь, что и нельзя не улыбаться. Вот, хоть бы судьба этих двух братьев – чего и чего не придет в голову, думая о них!

Разница, бывшая между моим отцом и Сенатором, бледнеет перед резкой противоположностью их, несмотря на то, что они выросли в одной комнате, имели одного гувернера, одних учителей, одинакую обстановку.

Старший брат был блондин с британски-рыжеватым оттенком, с светло-серыми глазами, которые он любил щурить и которые говорили о невозмущаемом штиле души. С летами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою. Он тогда стал щурить не только глазами, но и ноздрями особенно, довольно удачного покроя. (170) Говоря, он почесывал третьим пальцем левой руки волосы на висках, всегда подвитые и правильно причесанные, притом он постоянно держал губы на благосклонной улыбке; последнее он унаследовал у матери и у Лампиева портрета Екатерины II. Правильные черты его вместе с стройным и довольно высоким ростом, с тщательно округленными движениями, с шейным платком, которого узел "никогда не был ни велик, ни мал", придавали ему какую-то торжественную красоту – посаженного отца, почетного свидетеля, человека, которому предоставлено раздавать награды отличившимся ученикам, или по крайней мере человека, приехавшего поздравить с рождением Христовым или с наступающим Новым годом. Но для будней, для ежедневного обихода он был слишком наряден.

Вся его жизнь была рядом наград за успехи и нравственность. Он их заслуживал вполне. Маршал, поседевший от меньшого брата его, не мог нахвалиться Дмитрием Павловичем и безусловно верил в непогрешительность его французского синтаксиса. Действительно, он говорил по-французски с той непорочной правильностью, с которой французы никогда не говорят (вероятно, потому, что в них не развито чувство сознания всей важности знать французскую грамматику). Четырнадцати лет он не только участвовал в управлении именем, но перевел на французский язык в прозе всю "Россиаду" Хераскова для упражнения в стиле. Вероятно, старик радовался на том свете больше, чем "Лебедь на водах Меандра", узнавши это. Но Голохвастов не только правильно говорил по-французски и по-немецки, не только хорошо знал по-латыни, но знал и говорил правильно и хорошо по-русски.

Так, как Маршал считал его лучшим учеником, так его мать считала его лучшим сыном, дяди его – лучшим племянником, а князь Дмитрий Владимирович Голицын, когда он определился к нему на службу, считал его лучшим чиновником. Но что еще важнее – что все это действительно так и было. А странное дело... чувствовалось отсутствие чего-то. Он был умен, деловой человек, много читал и помнил – чего же больше, кажется, требовать?

Я впоследствии не раз встречал эти натуры, эти "гладенькие" умы, эти светло понимающие – на известном пространстве и в известную глубину – головы. Они умно рассуждают, не отступая от данных; они еще умнее поступают, не сходя с торной дороги; они настоящие (171) современники своего времени, своего общества. Все, что они говорят, – истинно, но они могли бы говорить что-нибудь другое; все, что они делают, – хорошо, но они могли бы делать что-нибудь иное. Они обыкновенно нравственны, но вам нечистая сила шепчет на ухо: "Да могут ли они быть безнравственны?" Немцы называли бы таких людей "рассудочными"; это среда вигизма в Англии, – среда, которой гений и высший представитель теперь Маколей, в стары годы был Вальтер Скотт, среда практической философии пустынного de la Chaussee d'Antin и философских поучений Вейса. Все у этих господ исправно, чинно, на месте; они правильно любят добродетель и бегут порока; все у них не лишено известной прелести серенького летнего дня без дождя и солнца, а чего-то нет, – ну, так, безделицы, ничего, как. у великих княжен царя Никиты... но

И того недоставало,

а без того и все остальное не в честь.

Меньшой брат Голохвастова родился хромым; уж одно это обстоятельство лишило его возможности приобрести античную позу и версальскую поступь старшего брата. К тому же у него были черные волосы и огромные черные глаза, которыми он никогда не щурился. Эта энергическая и красивая наружность была все; внутри бродили

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru довольно неустроенные страсти и смутные понятия. Мой отец, не ставивший его ни в грош, говорил, когда особенно был им недоволен:

- Quel jeu interessant de la nature<sup>111</sup> видеть на плечах Николаши, - и при этом старик поднимал свои собственные, - голову персидского шаха!

Так, как его старший брат не мог ни на минуту обдосужиться весь свой век и постоянно что-нибудь делал, так Николай Павлович всю жизнь решительно ничего не делал. В юности он не учился; лет двадцати трех он уже был женат, и это презабавным образом. Он увез сам себя. Влюбившись в бедную и незнатную девушку, чрезвычайно милую грёзовскую головку или севрскую изящнейшую куколку, он просил позволения жениться на ней, и этому я всего меньше дивлюсь. Мать, исполненная аристократических предрассудков и воображавшая, что за своих сыно(172)вей меньше взять нельзя, как Румянцеву или Орлову, и то с целым народонаселением какой-нибудь Воронежской или Рязанской губернии, разумеется, не согласилась. Но, как брат его ни уговаривал, как дяди и тетки ни усовещивали, светленькие глазки молодой девушки взяли свое; наш Вертер, видя, что ничем не сломит волю своих родных, спустил ночью в окно шкатулку, несколько белья, камердинера Александра, потом спустился сам, оставив свою дверь запертую изнутри. Когда к обеду следующего дня открыли дверь, он был уже обвенчан. Его мать так огорчилась тайным браком, что слегла в постель и умерла, принеся свою жизнь в жертву на алтарь этикета и приличий.

У них в доме жила вдова коменданта Орской крепости во времена чумы и Пугачева, старушка-офицерша, глухая, с небольшими усами и ворчунья. Часто рассказывала она мне потом о потрясающем событии побега и всякий раз прибавляла: "Я, батюшка, с малых лет видела, что в Николае-то Павловиче проку никакого не будет и никакого утешения Елизавете Алексеевне. Ему, извольте видеть, было лет двенадцать, -век не забуду, - прибежал ко мне, хохочет до слез, говорит: "Надежда Ивановна, Надежда Ивановна, поскорее к окну: посмотрите, что с нашей коровой сделалось!" Я к окну - да так и ахнула. Ну, представь, батюшка: ей собаки, что ли, хвост оторвали, только она, моя голубушка, так-таки без хвоста и есть... Корова была тирольская... не вытерпела я, так это, я говорю, ты смеешься над маменькиной коровой да над своим добром, ну, какой же в тебе будет путь! Так я уж и махнула рукой с той самой поры".

Пророчество, так странно вышедшее из коровьего хвоста, которого не было на своем месте, начало сбываться быстро. Братья разделились, и меньшей пошел кутить.

Кто не помнит ряд Гогартовых рисунков, в которых он представляет параллельно жизнь трудолюбивого и лентяя. Трудолюбивый скучает в церкви, ленивый играет в кости; трудолюбивый читает в семействе назидательную книгу, лентяй пьет водку и т. д. Эту параллель с изменением общественного положения представляли наши братья. У Гогарта один из героев начинает воровать и оканчивает виселицей, а другой всю жизнь совсем не веселится и приговаривает своего приятеля к смерти. (173) Воровство - hors oeuvre<sup>112</sup> - не его вина, что ему мать не оставила двух тысяч душ в Калужской губернии, как Елизавета Алексеевна, и полмиллиона денег. Стал ли бы он тогда хлопотать и трудиться, воровать вовсе не отдохновение, а работа очень неприятная и чрезвычайно опасная.

Оба брата, разделившись, горячо принялись за дело. Один - улучшать свое имение, другой - разорять его, не знаю, прибавил ли Дмитрий Павлович сто рублей своими неусыпными заботами к имуществу, Николай Павлович через десять лет имел больше миллиона долга.

Вскоре после смерти матери, устроив свою сестру, то есть выдав ее замуж, Дмитрий Павлович уехал в Париж и Лондон - глядеть Европу, а Николай Павлович принялся себя показывать Москве: балы, обеды, спектакли следовали друг за другом; его дом с утра был набит охотниками до хорошего завтрака, знатоками вин, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами; вино лилось, музыка гремела; он даже иногда поднимал местного образа первой величины: князя Д. В. Голицына, князя Юсупова.

Холостой Дмитрий Павлович между тем, правильно осмотревши Европу и выучившись по-английски, возвращался (вооруженный планами девонширских ферм и корнвельского конского завода в сопровождении английского берейтора и двух огромных породистых ньюфаундлендских собак, с длинной шерстью, с перепонками на лапах и одаренных невероятной глупостью. Морем плыли сеяльные и веяльные машины, необыкновенные

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
пługi и г модели всяких агрономических затей.

Пока Дмитрий Павлович старательно заводил четырехпольное хозяйство, не идущее к нашей земле, и обсевал клевером наши православные луга, пока он давал английское воспитание жеребят, от русских родителей рожденным, и изучал Тэера, – Николай Павлович, и это, я думаю, худший и глупейший поступок в его жизни, успел разлюбить свою жену и, как бы не находя довольно быстрым средством разорения балы и обеды, взял на содержание актрису-танцовщицу, которая, без сомнения, была недостойна завязывать шнурков корсета его жены. С этой минуты все пошло, как на парах: именье было описано, жена погоревала, погоревала о судьбе детей и о своей (174) собственной, простудилась и в несколько дней умерла, – дом распадался.

Видя это, Дмитрий Павлович принял энергическую меру, чтоб и его именье не пошло кредиторам его брата – он решился жениться. Он тщательно выбрал умную и дельную жену; брак его не был делом безумной страсти; он из династического интереса желал прямых наследников, чтоб оградить родовое именье праотцев.

Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича. Такого сюрприза от него он не ждал; видно, им было на роду написано удивлять друг друга своими бракосочетаниями. Чтоб утешиться, он стал вдвое кутить. Как медленно ни делаются у нас эти дела, но, наконец, настало время продажи именья с аукционного торга. Не думаю, чтоб это очень заботило Дмитрия Павловича, но тут опять замешались династические интересы, и потому Дмитрий Павлович с помощью дядей принялся за спасение брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеек сорок с рубля, то есть бросали в печь большую сумму денег и увидели потом, что это совершенно бесполезно, – так много было векселей. Один из эпизодов этой истории остался у меня в памяти. При разделе брильянты матери достались Николаю Павловичу; Николай Павлович, наконец, заложил и их. Видеть брильянты, украшавшие некогда величавый стан Елизаветы Алексеевны, проданными какой-нибудь купчихе, Дмитрий Павлович не мог. Он представил брату весь ужас его поступка; тот плакал, клялся, что раскаивается; Дмитрий Павлович дал ему вексель на себя и послал к ростовщику выкупить брильянты; Николай Павлович просил его позволение привезти брильянты к нему, чтоб он их спрятал как единственное наследство его дочерей. Брильянты он выкупил и повез к брату, но, вероятно, *chemin faisant*<sup>113</sup> он раздумал, потому что, вместо брата, он заехал к другому ростовщику и снова их заложил. Надо себе представить удивление Сенатора, досаду Дмитрия Павловича и пространные рассуждения моего отца, чтоб понять, как я от души хохотал над этим высоко комическим происшествием.

Когда все средства окончательно истощились, именье было продано, дом назначен в продажу, люди распущены, брильянты не выкуплены во второй раз, когда, наконец, (175) Николай Павлович велел рубить свой московский сад, для того чтоб топить печи, – та же благодатная судьба, которая баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Он поехал на дачу к своему двоюродному брату и вышел пройтись, приостановился середь разговора, взял себя за голову рукой, упал и умер.

В эти последние годы *the diligent*<sup>114</sup> Дмитрий Павлович, как Цинциннат, оставив плуг, перешел к управлению ученой республики в Москве. Случилось это так. Император Николай, полагая, что генерал-майор Писарев довольно остриг студентов и основательно научил застегивать вицмундирные сюртуки, захотел переменить военное управление университета на статское. На дороге между Москвой, и Петербургом он назначил попечителем князя Сергей Михайловича Голицына – по какому соображению, это трудно сказать, вероятно, он и сам себе в этом отчета не мог дать. Разве он назначил его для того, чтобы доказать, что место попечителя вовсе не нужно. Голицын, которого он взял с собой, без того уже полуживой от курьерской езды сломя голову, к которой он не привык, до того испугался нового места, что стал отказываться. Но в этих случаях толковать с Николаем было невозможно: его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда они чего-нибудь хотят животом.

Вронченко, когда его сделали министром финансов, бросился ему в ноги, уверяя его в своей неспособности. Николай глубокомысленно отвечал ему:

– Все это вздор; я прежде не управлял государством, а вот научился же, научись и ты.

И Вронченко остался поневоле министром к великой радости всех "unprotected females"<sup>115</sup> Мещанской улицы, которые осветили свои окна, говоря: "Наш Василий

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Федорович стал министром!"

Голицын, проскакавши еще верст сто и еще больше измятый, решился идти на переговоры и доложил, что он только тогда возьмет место, когда у него будет надежный товарищ, который бы помогал ему пасти университетскую паству. Государь через пятьдесят верст велел ему самому сыскать себе товарища. Так они благополучно приехали в Петербург. (176)

Отдохнув с месяц от дороги, Голицын тихонько поехал в Москву и принялся искать товарища. У него был по университету помощник, высочайший из смертных после своего брата и Преображенского табмурмажора, граф А. Панин; но он действительно был слишком высок, чтоб маленький старичок мог его избрать. Осмотревшись в Москве, взгляд Голицына остановился на Дмитрие Павловиче. С его точки зрения, он не мог сделать лучшего выбора. Дмитрий Павлович имел все те достоинства, которые высшее начальство ищет в человеке нашего века, без тех недостатков, за которые оно гонит его: образование, хорошая фамилия, богатство, агрономия и не только отсутствие "завиральных идей", но и вообще всяких происшествий в жизни. Голохвастов не имел ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не играл отроду в карты, ни разу не напивался допьяна, но часто по воскресеньям ездил к обедне, и не просто к обедне, а к обедне в домовую церковь князя Голицына. К этому надобно прибавить мастерской французский язык, округленные манеры и одну страсть, страсть совершенно невинную, – к лошадям.

Только что Голицын придумал, как уж Николай опять несся стремглав в Москву. Тут Голицын поймал его, пока он не ударился в Тулу, и представил ему Дмитрия Павловича. Он вышел от государятоварищем попечителя.

С этого времени Дмитрий Павлович начал приметно толстеть, наружность его выражала еще больше важности; он стал как-то больше говорить в нос, чем прежде, и фрак стал носить как-то пошире, без звезды, но, видимо, предчувствуя ее.

До его назначения в университет мы были с ним настолько близки, насколько различие лет позволяло (он был лет 16 старше меня). Тут я с ним чуть не рассорился, по крайней мере лет десять кряду мы смотрели друг на друга с неприязненным холодом.

Частной причины на это не было никакой. Его поведение относительно меня было всегда исполнено деликатности, без ненужной короткости, без оскорбительного отдаления. Это потому заслуживает внимания, что отец мой, с своей стороны, стараясь нас сблизить, делал все, что следует, чтоб поселить между нами ненависть.

Он постоянно толковал мне, что Сенатор и Дмитрий (177) Павлович – мои естественные покровители, что я должен быть к ним прибежен, что я должен ценить их родственную ласку. К этому он прибавлял, что само собою разумеется, что все их знаки внимания оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, к которому я привык почти столько же, сколько к моему отцу, с той разницей, что его я не боялся, мне эти слова ничего не значили, но от Голохвастова они меня отдаляли, и если не отдаляли, то это благодаря такту, с каким себя Голохвастов постоянно вел.

Вещи эти отец мой говорил не в минуту досады, а в самом лучшем расположении духа, и это оттого, что в екатерининском веке клиентизм был обыкновенен, подчиненные не смели сердиться за "ты" от начальника и все на свете открыто искали милостивцев и покровителей.

Когда Дмитрий Павлович был назначен в университет, я думал точно так, как князь Сергей Михайлович, что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Бели бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педанство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педельства на большом размере не было при самом Писареве. И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были Панин и Писарев для волос и пуговиц.

Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме его, что-то

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился ех officio<sup>116</sup> со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостью своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая?

Формализм его и это вечное священнодействие, mise en scene<sup>117</sup> себя, иногда вводили его в самые забавные (178) истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться.

Как председатель московского ценсурного комитета, он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали ценсировать в Петербург. В Москве был старик Мяснов, большой охотник до лошадей, он составил какую-то генеалогическую таблицу лошадиных родов и, желая выиграть время, просил позволения посылать в цензуру корректурные листы вместо рукописи, в которой, вероятно, хотел сделать поправки. Голохвастов затруднился, произнес длинную речь, где плодовито изложил pro и contra<sup>118</sup>, и заключил ее тем, что, впрочем, разрешить присылку корректурных листов в цензуру можно, буде автор удостоверит, что в его книге нет ничего против правительства, религии и нравственности.

Холерический и раздражительный Мяснов встал и с серьезным видом сказал:

- Так как это дело остается на моей ответственности, то я считаю необходимым оговориться, в книге моей, конечно, нет ни одного слова против правительства, ни против нравственности, но насчет религии я не так уверен.

- Помилуйте! - сказал удивленный Голохвастов.

- А вот, извольте видеть, в Кормчей книге есть статья, так гласящая: "Над корчагами клянущие, волосы плетущие и на конские ристалища ходящие да будут преданы анафеме". А я в моей книге очень много говорю о конских ристалищах, так, право, и не знаю...

- Это не может быть препятствием, - заметил Голохвастов.

- Покорнейше вас благодарю за разрешение сомнения, - ответил колкий старик, откланиваясь.

Когда я возвратился из второй ссылки, положение Голохвастова в университете было не прежнее. На место князя Сергей Михайловича поступил граф Сергей Григорьевич Строганов. Понятия Строгонова, сбивчивые и неясные, были все же несравненно образованнее. Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был (179) либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский "наш" с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгановского майората. В этих случаях не надо забывать la difficulte vaincue<sup>119</sup>

- Какая страшная повесть Гоголева "Шинель", - сказал раз Строгонов Е. Коршу, - ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч. Поставьте себя в мое положение и взгляните на эту повесть.

- Мне о-очень т-трудно, - отвечал К(орш), - я не привык рассматривать предметы с точки зрения человека, имеющего тридцать тысяч душ.

Действительно, с такими двумя бельмами, как майорат и "наш" с палочкой, трудно ясно смотреть на божий свет, и граф Строгонов иногда заступал постромку, делался чисто-начисто генерал-адъютантом, то есть взбалмошно-грубым, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него не доставало, и в этом снова выражалась добрая сторона его натуры. Для объяснения того, что я хочу сказать, приведу один пример.

Раз кончивший курс казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части ваканция младшего учителя, пришел просить у графа перемещения. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru городе. По несчастию, Строгонов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка.

- Какое вы имеете право на это место? - спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы.

- Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась ваканция.

- Да и еще одна открывается, - перебил граф, - ваканция нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?

- Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства, - ответил молодой человек, - я приму место посла с искренней благодарностью. (180)

Граф стал еще желтее, однако учтиво просил его в кабинет.

У меня лично с ним бывали прекуръезные сношения; самое первое свидание наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская школа.

Вечером как-то, во Владимире, сижу я дома за своею Лыбедью; вдруг является ко мне учитель гимназии, немец, доктор Иенского университета, по прозванию Делич, в мундире. Доктор Делич объявил мне, что утром приехал из Москвы попечитель университета, граф Строганов, и прислал его пригласить меня завтра в десять часов утра к себе.

- Не может быть; я его совсем не знаю, и вы, верно, перемешали.

- Это не фозможно. Der Herr Graf geruhten aufs freundlichste sich bei mir zu beurkunden fiber Ihre Lage hier<sup>120</sup>. Увы, едете?

Русский человек, я поборолся еще с Деличем, убедился еще больше, что ездить совсем не нужно, и поехал на другой день.

Альфиери, как человек не русский, поступил иначе, когда французский маршал, занявший Флоренцию, пригласил его, незнакомого, к себе на вечер. Он ему написал, что если это просто частное приглашение, то он за него весьма благодарит, но просит его извинить, потому что он никогда не ездит к незнакомым. Если же это приказ, то, зная военное положение города, он непременно в восемь часов вечера отдастся в плен (se constituera pri-sonnier).

Строгонов звал меня как редкость, принадлежавшую прежде к университету, как блудного кандидата. Ему просто хотелось меня видеть и, сверх того, хотелось, такова слабость души человеческой, даже под толстым аксельбантом, похвастать передо мной своими улучшениями по университету.

Он меня принял очень хорошо. Наговорил мне кучу комплиментов и скорым шагом дошел до чего хотел.

- Жаль, что вам нельзя побывать в Москве, вы не узнаете теперь университет; от здания и аудитории до (181) профессоров и объема преподавания - все изменилось, -j и пошел, и пошел.

Я очень скромно заметил, чтоб показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дурак, что, вероятно, преподавание оттого так изменилось, что много новых профессоров возвратилось из чужих краев.

- Без всякого сомнения, - отвечал граф, - но, сверх того, дух управления, единство, знаете, моральное единство...

Впрочем, отдадим ему справедливость, он своим "моральным единством" больше сделал пользы университету, чем Земляника своей больнице "честностию и порядком". Университет очень много обязан ему... но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что он хвастался этим . перед человеком, сосланным под надзор за политические проступки. Ведь это стоит того, что человек, сосланный за политические проступки, без всякой необходимости поехал по зову генерал-адъютанта. О, Русь!.. Что же тут удивительного, что иностранцы ничего не понимают, глядя на нас!

.Второй раз я видел его в Петербурге, именно в то время, когда меня ссылали в

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Новгород. Сергей Григорьевич жил у брата своего, министра внутренних дел, я входил в залу в то самое время, как Строгонов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо; он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки.

Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах было видно большое негодование или раздражение, потому что Строгонов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытания с христианской кротостью.

- Поверьте, - говорил он, - каждому на свой пай достается нести крест.

"Даже и очень много иногда", - подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь, и не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

Он догадался и покраснел. (182)

- Вы, верно, думаете, - сказал он, - хорошо, мол, ему проповедовать. Поверьте, что tout est compensé, - по крайней мере так думает Азаис.

Сверх проповеди, он и Жуковский действительно хлопотали обо мне, но челюсти бульдога, вцепившегося в меня, не легко было разнять.

Поселившись в 1842 году в Москве, я стал иногда бывать у Строгонова. Он ко мне благоволил, но иногда будировал. Мне очень нравились эти приливы и отливы. Когда он бывал в либеральном направлении, он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был в мое время. Но когда он был в консервативном направлении, тогда упрекал, что я не служу и что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и больше ставят в необходимость изменить присяге или закрыть их кафедры.

- Я знаю, какой крик поднимется от этого, вы первый будете меня называть вандалом.

Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил:

- Вы этого никогда не сделаете, и потешу я вас могу искренно поблагодарить за хорошее мнение обо мне.

- Непременно сделаю, - ворчал Строгонов, потягивая ус и желтая, - вы увидите.

Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет, за это можно было позволить ему периодически пострадать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй.

Раз как-то он до того зарепортовался, говоривши со мной, что, браня все революционное, рассказал мне, как 14 декабря Т. ушел с площади, расстроенный прибежал в дом к его отцу и, не зная, что делать, подошел к окну и стал барабанить по стеклу; так прошло некоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой в их доме, не выдержала и громко сказала ему: "Постыдитесь, тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади, так-то вы понимаете ваш долг?" Он схватил шляпу и пошел - куда вы думаете? - спрятаться к австрийскому послу. (183)

- Конечно, ему следовало бы идти в полицию и донести, - сказал я.

- Как? - спросил удивленный Строгонов и почти попятился от меня.

- Или вы считаете, как француженка, - сказал я, не удерживая больше смеха, - что его обязанность была идти на площадь и стрелять в Николая?

- Видите, - заметил Строгонов, поднимая плечи и нехотя посматривая на дверь, - какой у вас несчастный рт122 ума, я только говорю, что вот эти люди... когда нет истинных, моральных, основанных на вере принципов, когда они сходят с прямого пути... все путается. Вы с летами все это увидите.



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
До этих лет я еще не дожил, но эту сторону ненаходчивости у Строгонова, над которой часто зло подсмеивался Чаадаев, я, совсем напротив, ставлю ему в большое достоинство.

Говорят, что во время совершенного помрачения духа нашего неевского Саула, после февральской революции, увлекся и Строгонов. Он будто бы настоял в новом цензурном совете на воспрещении пропускать что бы то ни было из писанного мною. Я это принимаю за действительный знак его хорошего расположения ко мне; услышав это, я принялся за русскую типографию. Но Саул шел дальше. Вскоре реакция обошла и перешла нашего графа, он не хотел быть палачом университета и вышел из попечителей. Но это еще не все. Через два-три месяца после Строгонова вышел в отставку и Голохвастов, устрешенный рядом безумных мер, которые ему предписывались из Петербурга.

Так окончилась публичная карьера Дмитрия Павловича, и он, как настоящий москвич, сложив с себя бремя государственных дел, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельским хозяйством и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами.

Во внутренней жизни его в продолжение его кураторства все шло благополучно, то есть в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Имение было ограждено законными наследниками. Сверх того, (184) еще одно лицо обрадовало и согрело последние десять лет его жизни. Я говорю о приобретении Бычка, первого рысака по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов Бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона – то худым консулом с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину, "а скале середь плещущего океана, – так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где он провел свою юность, в поле свободный, с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой, невесоной упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков, – тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале.

Казалось бы, отделавшись от скучных забот по университету, с огромным именем и огромным доходом, с двумя звездами и четырьмя детьми, тут-то бы и жить да поживать. Судьба решила иначе; вскоре после своей отставки Дмитрий Павлович, здоровый, сильный мужчина, лет пятидесяти с чем-то, занемог, хуже да хуже, сделалась горловая чахотка, и он умер после тяжелой и мучительной болезни в 1849 году.

И вот, я поневоле останавливаюсь в раздумье перед этими двумя могилами, и ряд странных вопросов, о которых я упомянул, снова представляется уму.

Смерть приравняла двух непохожих братьев. Кто же из них лучше воспользовался своим промежутком между двумя немymi и безответными пропастями? Один истратил и себя и свое достояние, но имел свой медовый месяц из лучших липовых сот. Положим, что он и был человек бесполезный, но вреда намеренного никому не делал. Он оставил детей в бедности – плохо; но они все-таки получили воспитание и должны были получить кой-что от дяди. А сколько тружеников, работавших всю жизнь, с горькой слезой закрывают глаза, глядя на детей, кото(185)рым они не могли дать ни воспитания, ни куска хлеба? Т. Карлейль, утешая людей, слишком умилявшихся над судьбой несчастного сына Людовика XVI, сказал им: "Это правда, он был воспитан сапожником, то есть получил то дурное воспитание, которое получали и теперь получают миллионы детей бедных (Поселяя и работников)".

Другой брат совсем не жил, он служил жизнь, так, как священники служат обедню, то есть с чрезвычайной важностью совершал какой-то привычный ритуал, более торжественный, чем полезный. Обдумать, зачем он его исполнял, ему было так же некогда, как его брату. Если из жизни Дмитрия Павловича исключить два-три случая – Бычка, скачки и кубки да два-три входа и выхода, например, когда он взошел в университет с сознанием, что он – начальник его, когда он вышел первый раз из своей комнаты в звезде, когда он представлялся е. и. величеству, когда водил по аудиториям е. и. высочество, – останется одна проза, одно деловое, натянутое, официальное утро. Споры нет, мысль о важности его участия в делах

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru административных доставляла ему удовольствие; этикет своего рода поэзия, своего рода артистическая гимнастика, как парады и танцы; но ведь какая бедная поэзия в сравнении с пышными пирами, в которых провел свою жизнь" его брат, тайком обвенчавшийся на хорошенькой барышне с упоительными глазками.

И в дополнение, Дмитрий Павлович своей правильной жизнью, своим образцовым поведением в нравственном, служебном и гигиеническом отношениях даже не дошел ни до здоровья, ни до долголетия и умер так же неожиданно, как его брат, но только с гораздо большими мучениями<sup>123</sup>.

Ну, и all right!<sup>124</sup>. (186)

#### ГЛАВА XXXII

Последняя поездка в Соколова. – Теоретический разрыв. – Натянутое положение. – Dahin! Dahin!

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда – я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам, – и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем нравились.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Редкина, старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Редкиным у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Редкин подошел к окну и опустил стору.

– Что же, от этого будет лучше? – спросил я его.

– Как же, – ответил за него Крюков, – Редкин верит in die Personlichkeit des absoluten Geistes<sup>125</sup> и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.

Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.

На одном листе записной книжки того времени, с видимой *arriere pensee*<sup>126</sup>, помечена следующая сентенция: "Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена",

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года. (187)

Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука, – если только человек ввернется ей без якоря, – непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все державшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий, оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.

Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули, наконец, из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru но, наконец, убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р(едкина), то, в сущности, все же они с ним согласнее, чем со мной, и что, при всей независимости их мысли, еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми, с Грановским и Е. Коршем.

Открытие это исполнило меня глубокой печалью порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.

Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о "Дилетантизме в науке" и "Письма об изучении природы", но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы. (188)

Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.

Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за "Отечественными записками". Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу, я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себе и стал с ним говорить об "Отечественных записках". Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.

Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.

- Что вы намерены делать после курса? - спросил я его раз.

- Постричься в священники, - отвечал он, краснея,

- Думали ли вы серьезно об участии, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

- Мне нет выбора, мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

- Вы не сердитесь на меня, - возразил я, - но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы несколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, - все это и, сверх того, искреннее участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими годами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:

- Перед вами лгать не стану - нет!

- Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день во всю вашу жизнь всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против святого духа, грех сознательный, обдуманый. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!

- Это ужасно! ужасно! - сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

- Як вам пришел затем, - сказал он, - чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы; духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал, с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.

Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.

Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.

Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, то есть положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицейцев. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластьем Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти<sup>127</sup> (190)

С радостью приветствовал я в лицейцах, бывших в Московском университете, - новое, сильное поколение.

Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его "романтизма". Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, не доставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и Сатина.

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались... Что-то они... как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к "Яру", где они остановились. Ну, вот они, наконец - и как переменились, и (191) какая борода, и не видались несколько лет - мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец, наш маленький круг был почти весь в сборе - теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколове - это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой - открывался пространный вид вдаль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, "Бель-вью"<sup>128</sup>.

Соколово некогда принадлежало графам Румянцевым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам., Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. Кетчер меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Е. приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. М. С. нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота...

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном, об отсутствии Огарева. Ну вот и он, и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами, Грановский нанял на все лето неболь(192)шой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura<sup>129</sup> не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовить пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри - явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела - все это отвлекло от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в "Отечественных записках" одно из моих писем об изучении природы (помнится, об Энциклопедистах) и был им чрезвычайно доволен.

- Да что же тебе нравится? - спросил я его. - Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

- Твои мнения, - ответил Грановский, - точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро; они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед, ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера? (193)

- Неужели же нет никакого мерил истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

- Все это так мало обязательно, - возразил Грановский, слегка изменившись в лице, - что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо. ,

- Славно было бы жить на свете, - сказал я, - если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.

- Подумай, Грановский, - прибавил Огарев, - ведь это своего рода бегство от несчастья.

- Послушайте, - возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, - вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах, мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

- Изволь, с величайшим удовольствием! - сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего...

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что (194) сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа предел и с тем вместе цензура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: "Итак, видно, мы опять одни?"

Огарев взял тройку и поехал в Москву, на дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.

...Ни скорбь, ни скука

Не утомят меня. Всею свой срок,

Я правды речь вел строго в дружней круге,

Ушли друзья в младенческом испуге.

И он ушел - которого, как брата

Иль как сестру, так нежно я любил!

.....

.....

Опять одни мы в грустный путь пойдем,

Об истине глася неумоимо,

И пусть мечты и люди идут мимо...

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало - дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, ни имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью...

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. Коршу. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. Коршу, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет; и все это он говорил с дружбой, с деликатностью - видно было, что и ему не легко. (195)

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей "наивности", а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили - ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего... а только, все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon<sup>130</sup> исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на "границу химического сродства" - и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... может быть... но в сущности я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество религии необходимо, тождество в главных теоретических убеждениях.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше, можно быть хорошим и верным союзником, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они - меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает - мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать - и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решают один такт сердца, тут нет правил.

Вскоре и в дамском обществе все разладилось. (196)

На ту минуту нечего было делать.

Ехать - ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора и без разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.

#### ГЛАВА XXXIII

Частный пристав в должности камердинера. - Обер-полицмейстер Кокошкин.  
"Беспорядок в порядке". - Еще раз Дубельт. - Паспорт.

...За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтоб самому достать его. О. А. отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова "высочайшее" разрешение приехать в Петербург, на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под строгим надзором полиции, мне хотелось одного, чтоб он послал запрос в Петербург.

В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он, и попросивши, чтоб я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне пять лет тому назад въезд в Петербург запрещен и что без высочайшего повеления он билета не подпишет.

- За этим у нас дело не станет, - скатал я, смеясь, и вынул из кармана письмо.

Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволение показать обер-полицмейстеру и часа через два прислал мне билет и мою бумагу.

Надобно сказать, что половину разговора мой пристав вел на необыкновенно очищенном французском (197) языке. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, он испытал очень горько.

За несколько лет перед тем приехал в Москву с Кавказа какой-то путешественник, легитимист шевалье Про. Он был в Персии, в Грузии, много видел и имел неосторожность сильно критиковать тогдашние военные действия на Кавказе и особенно администрацию. Боясь, что Про будет то же говорить в Петербурге, генерал-губернатор кавказский благоразумно написал военному министру, что Про - преопасный военный агент со стороны французского правительства. Про жил преспокойно в Москве и был хорошо принят князем Д. В. Голицыным, как вдруг князь получил приказ отправить его с полицейским чиновником из Москвы за границу. Сделать такую глупость и такую грубость над знакомым всегда труднее, и потому Голицын, помявшись дни два, пригласил к себе Про и после красноречивого

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru вступления, наконец, сказал ему, что какие-то доносы, вероятно, с Кавказа, дошли до государя и что он приказал ему оставить Россию, что, впрочем, даже ему дадут провожатого...

Про, рассерженный, заметил князю, что так как правительство имеет право высылать, то он ехать готов, но провожатого не возьмет, не считая себя преступником, которого следует конвоировать.

На другой день, когда полицмейстер приехал к Про, тот его встретил с пистолетом в руке, объявляя наотрез, что он ни в комнату, ни в свою коляску не пустит полицейского, не пославши ему пули в лоб, если тот захочет употребить силу.

Голицын был вообще очень порядочный человек и потому затруднен; он послал за Вейером, французским консулом чтобы посоветоваться, как быть. Вейер нашел expedient<sup>131</sup>: он потребовал полицейского, хорошо говорящего по-французски, и обещал его представить Про, как путешественника, просящего уступить ему место в коляске Про за половину прогонов.

С первых слов Вейер а Про догадался, в чем дело.

- Я не торгую местами в моей коляске, - сказал он консулу.

- Человек этот будет в отчаянии. (198)

- Хорошо, - сказал Про, - я его беру даром, за это пусть он возьмет на себя маленькие услуги, - да не капризник ли это какой? я его тогда брошу на дороге.

- Самый услужливый в мире человек, вы просто распоряжайтесь им. Я вас благодарю за него. - И Вейер поскакал к князю Голицыну объявить о своем торжестве.

- Вечером Про и bona fide<sup>132</sup> traveller<sup>133</sup> отправились. Про молчал всю дорогу; на первой станции он взшел в комнату и лег на диван.

- Эй!-закричал он товарищу, - подите сюда, снимите сапоги.

- Что вы, помилуйте, с какой стати?

- Вам говорят: снимите сапоги, или я вас брошу на дороге, ведь я не держу вас.

Снял мой полицейский офицер сапоги...

- Вытрясите их и вычистите.

- Это из рук вон!

- Ну, оставайтесь!..

Вычистил офицер сапоги.

На следующей станции та же история с платьем, и так Про тормозил его до самой границы. Чтоб утешить этого мученика шпионства, на него было обращено особое монаршее внимание и его, наконец, сделали частным приставом.

На третий день после моего приезда в Петербург дворник пришел спросить от квартального, "по какому виду я приехал в Петербург?" Единственный вид, бывший у меня, - указ об отставке, был мною представлен генерал-губернатору при просьбе о пассе. Я дал дворнику билет, но дворник возвратился с замечанием, что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург. С тем вместе пришел полицейский с приглашением в канцелярию обер-полицмейстера. Отправился я в канцелярию Кокошкина (днем освещенную лампами!); через час времени он приехал. Кокошкин лучше других лиц того же разбора выражал царского слугу без дальних видов, чернорабочего временщика без совести, без размышления, - он служил и наживался так же естественно, как птицы поют. (199)

Перовский сказал Николаю, что Кокошкин сильно берет взятки.

- Да, - отвечал Николай, - но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге.



Я посмотрел на него, пока он толковал с другими... какое измятое, старое и дряхло-растленное лицо; на нем был завитой парик, который вопиюще противуречил опустившимся чертам и морщинам.

Поговоривши с какими-то немками по-немецки и притом с какой-то фамильярностью, показывавшей, что это старые знакомые, что видно было и из того, что немки хохотали и шушукались, Кокошкин подошел ко мне и, смотря вниз, довольно грубым голосом спросил:

- Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?
- Да, но я имею разрешение.
- Где оно?
- У меня.
- Покажите - как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?
- Как во второй раз?
- Я помню, что вы приезжали.
- Я не приезжал.
- И какие это у вас дела здесь?
- У меня есть дело к графу Орлову.
- Что же, вы были у графа?
- Нет, но был в Третьем отделении.
- Видели Дубельта?
- Видел.
- А я вчера видел самого Орлова, он говорит, что никакого разрешения вам не посылал.
- Оно у вас в руках.
- Бог знает, когда это писано, и время прошло.
- Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту.
- Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через двадцать четыре часа.
- Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова.
- Я вам не могу позволить, да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения. (200)
- Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу.
- Она должна остаться у меня.
- Да ведь это письмо ко мне, на мое имя, единственный документ, по которому я здесь.
- Бумага останется у меня, как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтоб не было хуже.

Он кивнул головой и вышел. Вот тут и толкуй с ними.

У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под начет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старосте. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано, Тучков так и отвечал. Дело пошло в сенат, сенат снова решил: "Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность... то..." На что Тучков опять отвечал: "А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то..." Прошел год, снова полиция объявляет с строжайшим подтверждением: "Так как генерал-лейтенант... то...", и опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения.

Все это вовсе не исключение, а совершенно нормально. Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит No и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: "А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад", и бумагу кладет в карман.

Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах: "Какие они все шалуны!"

Я поехал в III отделение и рассказал Дубельту, что было. Дубельт расхохотался.

- Как это они вечно все перепутают! Кокошкин доложил графу, что вы приехали без позволения, граф и сказал, чтоб вас выслали, но я потом объяснил дело; вы можете жить сколько хотите, я сейчас велю написать в полицию. Но теперь об вашем деле, граф не думает, чтоб полезно было просить вас позволение ехать за границу. Государь вам два раза отказал, последний раз по просьбе графа Строгонова; если он откажет в третий (201) раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете к водам.

- Что же мне делать? - спросил я с ужасом, так мысль путешествия и воли обжилась в моей груди.

- Отправляйтесь в Москву; граф напишет генерал-губернатору частное письмо о том, что вы желаете для здоровья вашей супруги ехать за границу, и спросит его, заметив, что знает вас с самой лучшей стороны, думает ли он, что можно с вас снять надзор? На такой вопрос нечего отвечать, кроме "да". Мы представим государю о снятии надзора, тогда берите себе паспорт, как все другие, и с богом к каким хотите водам.

Мне казалось все это чрезвычайно сложным, и даже просто уловкой, чтоб отделаться от меня. Отказать мне они не могли, это навлекло бы на них гонение Ольги Александровны, у которой я бывал всякий день. Однажды уехавши из Петербурга, я не мог еще раз приехать; переписываться с этими господами - дело трудное. Долю моих сомнений я сообщил Дубельту; он начал хмуриться, то есть еще больше улыбаться ртом и щурить глазами.

- Генерал, - сказал я в заключение, - не знаю, а мне даже не верится, что до государя дошло представление Строгонова.

Дубельт позвонил и велел подать "дело" обо мне и, ожидая его, добродушно сказал мне:

- Граф и я, мы предлагаем вам тот путь для получения паспорта, который мы считаем вернейшим; ежели у вас есть средства более верные, употребите их; вы можете быть уверены, что мы вам не помешаем.

- Леонтий Васильевич совершенно прав, - заметил какой-то гробовой голос; я обернулся, возле меня стоял еще более седой и состарившийся Сахтынский, который принимал меня пять лет тому назад в том же III отделении. - Я вам советую руководствоваться его мнением, если хотите ехать.

Я поблагодарил его.

- А вот и дело, - сказал Дубельт, принимая толстую тетрадь из рук чиновника (что бы я дал - прочесть ее всю! в 1850 году я видел в кабинете Карльемой "досье" в Париже; интересно было бы сличить), порывшись в ней, он мне ее подал раскрытую, это была доклад(202)ная записка Бенкендорфа вследствие письма Строгонова,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru просившего мне разрешение ехать на шесть месяцев к водам в Германию. На поле было крупно написано карандашом "рано", по карандашу было проведено лаком, внизу написано было пером: "рукою е. и. в. написано рано. Граф А. Бенкендорф".

- Верите теперь? - спросил Дубельт.

- Верю, - отвечал я, - и так верю вашим словам, что завтра же еду в Москву.

- Да вы, пожалуй, погуляйте у нас, полиция теперь вас беспокоить не будет, а перед отъездом заезжайте, я велю вам показать письмо к Щербатову, Прощайте, bon voyage134, если не увидимся.

- Счастливого пути, - прибавил Сахтынский.

Мы расстались, как видите, přátельски.

Приехав домой, я нашел приглашение от частного пристава, кажется II Адмиралтейской части. Он меня спрашивал, когда я выезжаю.

- Завтра вечером.

- Помилуйте, да, кажется, я думал... генерал говорил, сегодняшнего числа. Его превосходительство, конечно, отсрочит, но позвольте быть удостоверену?

- Можете, можете; кстати, дайте мне билет.

- Я его напишу в части и пришлю часа через два. В -каком заведении изволите ехать?

- В Серапинском, если найду место.

- И прекрасно, а в случае, если места не найдете, благоволите сообщить.

- С удовольствием.

Вечером опять явился квартальный, частный пристав велел мне сказать, что не может выдать мне билета, а чтоб я пришел завтра в восемь часов утра к обер-полицмейстеру.

Что за пропасть такая и что за скука! В восемь часов я не пошел, а в продолжение утра явился в канцелярию. Частный пристав был там и сказал мне:

- Вам нельзя ехать, есть бумага из Третьего отделения.

- Что случилось?

- Не знаю, генерал не велел выдавать билета.

- Правитель дел знает? (203)

- Как не знать, - и он мне указал полковника в мундире и сабле, сидевшего за большим столом в другой комнате; я спросил его, в чем дело.

- Точно-с, - сказал он, - была бумага, да вот она, - он прочитал ее и подал мне. Дубельт писал, что я имел полное право приехать в Петербург и могу остаться сколько хочу.

- Поэтому-то вы меня не пускаете? Извините, я не могу удержаться от смеха, вчера обер-полицмейстер гнал меня отсюда против моей воли, сегодня против моей воли оставляет, и все это на том основании, что в бумаге сказано, что я могу оставаться сколько хочу.

Дело было так очевидно, что сам полковник-секретарь расхохотался.

- На что же я брошу деньги за два места в дилижансе? Велите, пожалуйста, написать билет.

- Я не могу, а пойду доложить генералу. Кокошкин велел написать билет и, проходя

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru по канцелярии, с упреком сказал мне:

- На что это похоже, то хотите остаться, то едете; ведь сказано, что можете остаться.

Я ему ничего не отвечал.

Когда вечером мы выехали из-за заставы и я снова увидел бесконечную поляну, тянувшуюся к Четырем Рукам, я посмотрел на небо и искренно присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот - начальник III отделения.

Щербатов неохотно отвечал Орлову. У него тогда был секретарем не полковник, а пиетист, ненавидевший меня за мои статьи как "афея и гегельянца". Я сам ездил толковать с ним. Схи-секретарь елейным голосом и с христианским помазанием говорил, что генерал-губернатору ничего не известно обо мне, что он в моих высоких нравственных качествах не сомневается, но что следует забрать справки у обер-полицмейстера. Он хотел затянуть дело; к тому же этот господин не брал взятку. В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взятку у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи бог. По счастью, обер-полицмейстер Лужин одобрил меня. (204)

Дней через десять, возвращаясь домой, я в дверях столкнулся с жандармом. Появление полицейского в России равняется черепахе, упавшей на голову, и потому не без особенно неприятного чувства ждал я, что он мне скажет; он подал мне пакет. Граф Орлов извещал о высочайшем повелении снять надзор. С тем вместе я получал право на заграничный пасс.

Ну, радуйтесь! Я отпущен!

Я отпущен в страны чужие!

Да это, полно ли, не сон?

Нет! Завтра ж кони почтовые

и я скачу von Ort zu Ort135,

Отдавши деньги за паспорт.

Поеду. что-то будет там?..

Не знаю! верю! но темно

Грядущее перед очами,

Бог весть, что мне сулит оно!

Стою со страхом пред дверями

Европы. Сердце так полно

Надеждой, смутными мечтами,

Но я в сомнении, друг мой,

Качаю грустной головой.

("Юмор", ч. II)

"...Шесть-семь троек провожали нас до Черной Гязи... Мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались.

Был уж вечер, возок заскрипел по снегу... Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного только недоставало - ближайшего из близких, он один был болен и как будто своим

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
отсутствием омыл руки в моем отъезде.

Это было 21 января 1847 года..."

Дней через десять мы были на границе.

...Унтер-офицер отдал мне пассы; небольшой старый солдат в неуклюжем кивере, покрытом клеенкой, и с ружьем неимоверной величины и тяжести, поднял шлагбаум; уральский казак с узенькими глазками и широкими скулами, державший поводья своей небольшой (205) лошаденки, шершавой, растрепанной и сплошь украшенной ледяными сосульками, подошел ко мне "пожелать счастливого пути"; грязный, худой и бледный жиденок-ямщик, у которого шея была обвернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

- Прощайте! Прощайте! - говорил, во-первых, наш старый знакомец Карл Иванович, проводивший нас до Таурогена, "и кормилица Тэты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами.

Жиденок тронул коней, возок двинулся, я смотрел назад, шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу, поднимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади.

Кормилица в сарафане и душегрейке все еще смотрела нам вслед и плакала; Зонненберг, этот образчик родительского дома, эта забавная фигура из детских лет, махал фуляром - кругом бесконечная степь снегу.

- Прощай, Татьяна! Прощайте, Карл Иванович!

Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноглавый и худой орел с растопыренными крыльями.., и то хорошо =- одной головой меньше.

Прощайте!

И. Х. КЕТЧЕР (1842-1847)

Мне приходится говорить о Кетчере опять, и на этот раз гораздо подробнее.

Возвратившись из ссылки, я застал его по-прежнему в Москве. Он, .впрочем, до того сросся и сжился с Москвой, что я не могу себе представить Москву без него или его в каком-нибудь другом городе. Как-то он попробовал перебраться в Петербург, но не выдержал шести месяцев, . бросил свое место и снова явился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова проповедовать вольный образ мысли офицерам, играющим на бильярде, поучать актеров драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притеснения прежних друзей своих. Правда, теперь у него был и новый круг, то есть круг Белинского, Бакунина; но хотя он их и поучал (206) денно и ночью, но душою и сердцем все же держался нас.

Ему было тогда лет под сорок, но он решительно остался старым студентом. Как это случилось? Это-то и надобно проследить.

Кетчер по всему принадлежит к тем странным личностям, которые развились на окраине петровской России, особенно после 1812 года, как ее последствие, как ее жертвы и, косвенно, как ее выход. Люди эти сорвались с общего пути, тяжелого и безобразного, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом искании останавливались. В этой пожертвованной шеренге черты очень розны: не все похожи на Онегина или на Печорина, не все - лишние и праздные люди, а есть люди, трудившиеся и ни в чем не успевшие, - люди неудавшиеся. Мне тысячу раз хотелось передать ряд своеобразных фигур, резких портретов, снятых с природы, и я невольно останавливался, подавленный материалом. В них ничего нет стадного рядского, чекан розный, одна общая связь связует их или, лучше, одно общее несчастье; вглядываясь в темно-серый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же, бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны... словом петербургская Россия. Ею они несчастны, и нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут: земли нет под ногами, хотят кричать - языка нет... да нет и уха, которое бы слышало.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Дивиться нечему, что при этом потерянном равновесии больше развивалось оригиналов и чудачков, чем практически полезных людей, чем неутомимых работников, что в их жизни было столько же неустроенного и безумного, как хорошего и чисто человеческого.

Отец Кетчера был инструментальный мастер. Он плавился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Он умер рано, оставив большую

семью на руках вдовы и очень расстроенные дела. Происхождением он был, кажется, швед. Стало, об истинной связи с народом, о той непосредственной связи, которая всасывается с молоком, с первыми играми, даже в господском доме, - не может быть и речи. Общество (207) иностранных производителей, индустриалов, ремесленников и их хозяев составляет замкнутый круг, жизнью, привычками, интересами, всем на свете отделенный и от верхнего и от низшего русского слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнее и чище, чем дикая тирания и затворнический разврат нашего купечества, чем печальное и тяжелое пьянство мещан, чем узкая, грязная и основанная на воровстве жизнь чиновников, но тем не меньше она совершенно чуждая окружающему миру, иностранная, дающая с самого начала другой плi и другие основы.

Мать Кетчера была русская, вероятно оттого Кетчер и не сделался иностранцем. В "воспитание детей я не думаю, чтоб она входила, но чрезвычайно важно было то, что дети были крещены в православной вере, то есть не имели никакой. Будь они лютеране или католики, они совсем бы отошли на немецкую сторону, они бы ходили в ту или другую кирку и вступили бы незаметно в выделяющуюся, обособляющуюся Gemeinde<sup>136</sup> с ее партиями, приходскими интересами. В русскую церковь, конечно, Кетчера никто не посылал; сверх того, если он иногда и хаживал ребенком, то она не имеет того паутинного свойства, как ее сестры, особенно на чужбине.

Надобно вспомнить, что время, о котором идет речь, вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, не защищались тогда чем ни попало, не ревновали о своих правах, может, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватили прохожих за ворот, "шневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик профессор Гейм, памятный лексиконами, с ужасом говорил в университетской "ауле"<sup>137</sup>: "Es ist ein Ende mit der grossen Hochschule Rutheniae"<sup>138</sup>. Даже свирепая холера изуверства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (как всё у нас), Магницкого и Рунича, пронеслась зловредной тучей, побила народ, попавшийся на дороге, и исчезла, воплощаясь в разных фотиев и графинь. В гим(208)назиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с "закона божия".

Когда пришло время, Кетчер поступил в Медико-хирургическую академию. Это было тоже чисто иностранное заведение, и тоже не особенно православное. Там проповедовал Just-Christian Loder - друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этих людей наука еще была религией, пропагандой, войной, им самим свобода от теологических цепей была нова, они еще помнили борьбу, они верили в победу и гордились ею. Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису. Возле него стояли Фишер Вальдегеймский и оператор Гильтебрант, о которых я говорил в другом месте, и разные другие немецкие адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты. "Ни слова русского, ни русского лица". Все русское было отодвинуто на второй план. Одно исключение мы только и помним - это Дядьковский. Кетчер чтит его память, и он, вероятно, имел хорошее влияние на студентов; впрочем, медицинские факультеты и в позднейшее время жили не общей жизнью университетов: составленные из двух наций немцев и семинаристов они занимались своим делом.

Этого дела показалось мало Кетчеру, и это - лучшее доказательство тому, что он не был немец и не искал прежде всего профессии.

Особенной симпатии к своему домашнему кругу он не мог иметь, с молодых лет любил он жить особняком. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Он принялся читать и читать Шиллера.

Кетчер впоследствии перевел всего Шекспира, но Шиллера с себя стереть не мог.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты – все это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлексией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился. Он был удовлетворен, критика и скептицизм были для него совершенно чужды. (209)

Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение, и нравственная жизнь его была окончательно решена, все остальное проходило бесследно" мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлексиями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало.

Таким я его встретил в 1831 году у Пассека и таким оставил в 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель, не романтический, а, так сказать, этико-политический, вряд мог ли найти в тогдашней Медико-хирургической академии ту среду, которую искал., Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его. Отходя от окружавших людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-то лафонтеновским "Зондерлингом"<sup>139</sup>, каким-то "Робинсоном в Сокольниках". В небольшом саду их дома была беседка; туда перебрался "лекарь Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера", как в те времена острил Н. А. Полевой. В беседке дверь не имела замка... в ней было трудно повернуться. Это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру "Разбойников" и "Фиеско" и, вместо молитвы на сон грядущий, читал речи Марата и Робеспьера. Словом, если б он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал Руссо, чтоб был каждый.

С нами Кетчер сблизился через Вадима в 1831 году<sup>140</sup>. В нашем кружке, состоявшем тогда, сверх нас двоих, из Сазонова, Сатина, старших Пассеков и еще двух-трех (210) студентов, он увидел какой-то зачаток исполнения своих заветных мечтаний, новые всходы на плотно скошенной ниве в 1826 – и потому горячо к нам придвинулся. Постарше нас, он вскоре овладел "ценсурой нравов" и не давал нам делать шагу без замечаний, а иногда и выговора. Мы верили, что он практический человек и опытный больше нас; сверх того, мы любили его, и очень. Занемогал ли кто, Кетчер являлся сестрой милосердия и не оставлял больного, пока тот оправлялся. Когда взяла кольерейфа, Антоновича и других, Кетчер первый пробрался к ним в казармы, развлекал их, делал им поручения и дошел до того, что жандармский генерал Лисовский его призывал и внушал ему быть осторожнее и вспомнить свое звание (штаб-лекарь!). Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег, и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали. Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его, – отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. "Она не придет, говорил Надеждин спросонья, – пойдемте спать". Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, ждала она час-другой; все тихо, она сама – еще тише – возвратилась в свою комнату, вероятно поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: "Он ее не любил!"

Участие Кетчера во время нашего тюремного заключения, во время моей женитьбы рассказано в других местах. Пять лет, которые он оставался почти один – 1834-1840 – из нашего круга в Москве, он с гордостью и доблестью представлял его, храня нашу традицию и не изменяя ни в чем ни йоты. Таким мы его и застали, кто в 1840, кто в 1842, в нас ссылка, столкновение с чуждым (211) миром, чтение и работа изменили многое; Кетчер, неподвижный представитель наш, остался тот же.

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
Только вместо Шиллера переводил Шекспира.

Одна из первых вещей, которой занялся Кетчер, чрезвычайно довольный, что старые друзья съезжались снова в Москву, состояла в возобновлении своей цензуры *погит141*, и тут оказались первые шероховатости, которых он долго не замечал. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоедала. Прежняя жизнь кипела так быстро и шла так обще, что никто не обращал внимания на маленькие камешки по дороге. Время, как я сказал, изменило многое, личности развились резче, развились розно, и роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже чем смешна; все старались повернуть в смешное, покрыть его дружбой, его чистыми намерениями ненужную искренность и обличительную любовь, и делали очень дурно. Да дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если б его останавливали с самого начала, не выросли бы те несчастные столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь в начале 1847 года.

Впрочем, новые друзья не совсем были так снисходительны, как мы, и сам Белинский, очень любивший его, выбившись иной раз из сил и столько же не терпевший несправедливости, как сам Кетчер, давал ему резкие уроки, на целые месяцы переставая с ним спорить. Холодным или равнодушным Кетчер никогда не бывал. Он был постоянно в пароксизме преследования или в припадке любви, быстро переходя из самого горячего друга в уголовного судью – из этого ясно, что он всего менее выносил холод и молчание.

Тотчас после ссоры или ряда крупных обвинений Кетчер развлекался, гнев проходил бесследно, вероятно, внутренне бывал он недоволен собой, но никогда не сознавался; напротив, он старался всему придать вид шутки и опять переходил за те пределы, за которыми шутка не веселит. Это было вечное повторение знаменитого "гусака" в примирении Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Кто не видал детей, которые, закусив удила, нервно не могут остановиться в какой-нибудь шалости; уверенность в том, что будет наказание, (212) как будто усиливает искушение. Чувствуя, что успел снова додразнить кого-нибудь до холодных и колких ответов, он окончательно возвращался в мрачное расположение духа, поднимал брови, ходил большими шагами по комнате, становился трагическим лицом из шиллеровских драм, присяжным из суда *фукье-Тенвиля*, произносил свирепым голосом ряд обвинений на всех нас, – обвинений, не имевших ни малейшего основания, сам под конец убеждался в них и, подавленный горем, что его друзья такие мерзавцы, уходил угрюмо домой, оставляя нас ошеломленными, взбешенными до тех пор, пока гнев ложился на милость и мы хохотали, как сумасшедшие.

На другой день Кетчер с раннего утра, тихий и печальный, ходил из угла в угол, свирепо дымя трубкой и ожидая, чтоб кто-нибудь из нас приехал побранить его и помириться; мирился он, разумеется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательного, строгого дяди. Если же никто не являлся, то Кетчер, затая в груди смертельный страх, шел печально в кофейную на Неглинной или в светлую, покойную гавань, в которой всегда встречал – его добродушный смех и дружеский прием, то есть отправлялся к М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая им, уляжется; он, разумеется, жаловался М. С. на нас; добрый старик мылил ему голову, говорил, что он порет дичь, что мы совсем не такие злодеи, как он говорит, и что он его сейчас повезет к нам. Мы знали, как Кетчер мучился после своих выходов, понимали или, лучше, прощали то чувство, почему он не говорил прямо и просто, что виноват, и стирали по первому слову дочиста следы размолвки. В наших уступках на первом плане участвовали дамы, становившиеся почти всегда его заступницами. Им нравилась его открытая простота (он и их не щадил), доходившая до грубости, как странность; видя их потворство, Кетчер убедился, что так и следует поступать, что это мило и что, сверх того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры в Покровском иногда бывали полнейшего комизма, а все-таки оставляли на целые дни длинную, серую тень.

– Отчего кофей так дурен? – спросил я у Матвея.

– Его не так варят, – отвечал Кетчер и предложил свою методику. Кофей вышел такой же, (213)

– Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю, – заметил Кетчер и принялся за дело. Кофей не поправился, я заметил это Кетчеру. Кетчер попробовал и, уже несколько взволнованным голосом и устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил:



- Так, по-твоему, этот кофей не лучше?

- Нет.

- Однако же это удивительно, что ты в едакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения.

- Не я, а кофей.

- Это, наконец, из рук вон, что за несчастное самолюбие!

- Помилуй, да ведь не я варил кофей, и не я делал кофейник...

- Знаю я тебя... лишь бы поставить на своем. Какое ничтожество - из-за поганого кофея - адское самолюбие!

Больше он не мог; удрученный моим деспотизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исходивши верст двадцать; счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение; я, разумеется, не поминал о кофее и делал разные вежливости грибам.

На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился.

Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына.

Воспитание делит судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота, человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке, он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. "У меня, говорит, такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю... это предмет слишком близкий к сердцу".

Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе - обыкновенно толкующие о вос(214)питании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия и твердо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из искусственной жизни и сознательно возратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался, как все, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противудействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастю, в деле воспитания, как во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.

Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле... прикладное было слишком близко. Мой сын - тогда ему было лет семь-восемь - был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему лечения и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя.

- Ты консерватор! - кричал он с неистовством, - ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба.

Ребенок шалил и кричал во время болезни матери, я останавливал его; сверх

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной "Жуковым":

- Где твое право останавливать его крик? Он должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей! (215)

Размолвки эти, как я ни брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если б это было, он больше всех был бы наказан и потому, что он все же был очень привязан ко всем, и потому, что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с другим, и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду; но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, проверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решенное, - и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было б хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы *sommairement*<sup>142</sup>, сплеча, так или иначе - все равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.

При всем том серьезного отдаления до 1846 между нами не было. Natalie очень любила Кетчера; с ним неразрывна была память 9 мая 1838 года; она знала, что под его ежовыми колючками хранилась нежная дружба, и не хотела знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни. Ссора с Кетчером представлялась ей чем-то зловещим; ей казалось, если время может подпилить, и притом такой маленькой пилкой, одно из колец, так крепко державшихся во всю юность, то оно примется за другие, - и вся цепь рассыплется. Среди суровых слов и жестких ответов я видел, как она бледнела и просила взглядом остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало (216) Кетчера, но он употреблял гигантские усилия, чтоб показать, что ему в сущности все равно, что он готов примириться, но, пожалуй, будет продолжать ссору...

На этом можно было бы годы продлить странное, колебавшееся отношение карающей дружбы и дружбы уступающей. Но новые обстоятельства, усложнившие жизнь Кетчера, повели делакруче.

У него был свой роман, странный, как все в его жизни, и заставивший его быстро осесть в довольно топкой семейной сфере.

Жизнь Кетчера, сведенная на величайшую простоту, на элементарные потребности студентского бездомовья и кочевья по товарищам, вдруг изменилась. У него в доме явилась женщина, или, вернее, у него явился дом, потому что в нем была женщина. До тех пор никто не предполагал Кетчера семейным человеком, в своем *chez soi*<sup>143</sup>, его, любившего до того все делать беспорядочно, ходя закусывать, курить между супом и говядиной, спать не на своей кровати, что Конст. Аксаков замечал шутя, что "Кетчер отличается от людей тем, что люди обедают, а Кетчер ест", - у него-то вдруг ложе, свой очаг, своя крыша!

Случилось это вот как.

За несколько лет до того Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку; утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застенчива и жалка; ее существование никем не было замечено... ее никто не жалел. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольнический скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать, приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о ее печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первом она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова: за всеми шумами

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru приятельских пиров, московских первых спектаклей и ба-жановской кофейной была пуста в его сердце, в которой он, конечно, не признался бы даже себе самому, но (217) которая сказывалась. Бедный, невзрачный цветок сам собою падал на его грудь – и он принял его, не очень думая о последствиях и, вероятно, не приписывая этому случаю особенной важности,

В лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального144 ценса, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. С ними не женировались145 мы все... и потому бросить камень вряд посмеет ли кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась Кетчеру. Недаром воспиталась она в раскольническом скиту – она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чттила, чего боялась, чему повиновалась: Христос и богородица, святые угодники и чудотворные иконы – все это теперь было в Кетчере, в человеке, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это было вполнину скрыто, погребено... не смело обнаружиться.

...У ней родился ребенок; она была очень больна, ребенок умер... Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула. Кетчер стал холоднее к Серафиме, видался реже и наконец совсем оставил ее. Что это дикое дитя "не разлюбит его даром", можно было смело предсказать. Что же у ней оставалось на всем белом свете, кроме этой любви? Разве броситься в Москву-реку. Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, несмотря ни на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтоб встретить его, проводить глазами и потом плакать, плакать целую ночь; большею частью она пряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если он ласково отвечал, Серафима была счастлива и весело бежала домой. О своем же "несчастье", о своей любви она говорит стыдилась и не смела. Так прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. В 1845 Кетчер переселился в Петербург. Это было свыше сил. Не видать его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами, знать, что он за семьсот верст между (218) чужими людьми, и не знать, здоров ли он и не случилось ли с ним какой беды – этого вынести она не могла. Без всяких пособий и помощи, Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала месяцы, исчезла и добралась – таки до Петербурга. Там, усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтоб он не оттолкнул ее, чтоб он ее простил, что дальше ей ничего не нужно: она найдет себе угол, найдет черную работу, будет жить на хлебе и воде, – лишь бы остаться в том городе, где он, и иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли; теперь она останется здесь у него, это будет ее дом, он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись; забыты холодные осенние ночи, забыт страшный путь, и слезы ревности, и горькие рыдания: она с ним и уже, наверное, не расстанется больше – живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории, разве один Михаил Семенович; теперь скрыть ее было невозможно и не нужно: мы двое и весь наш круг приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг"

И эта-то девушка, полная любви, с своей безусловной преданностью, покорностью, наделала Кетчеру бездну вреда. На ней было все благословение и все проклятие, лежащее на пролетариате, – да еще особенно на нашем.

В свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она Кетчеру.

И то и другое в совершенном неведении и с безусловной чистотой намерений!

Она окончательно испортила жизнь Кетчеру, как ребенок портит кистью хорошую гравюру, воображая, что он ее раскрашивает. Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы – дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие открыто отрицав(219)шие церковь, – и она, воспитывавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Связывая вновь

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
необыкновенной силой воли порванные концы, она крепко держалась за узел.

Ускользнуть Кетчер уже не мог. Но он и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер искренно стремился загладить его; подвиг Серафимы увлек его. Склоняясь перед ним, он знал, что в свою очередь и он делает жертву; но, натура в высшей степени честная и благородная, он был рад ей, как искуплению. Только знал-то он одну материальную сторону ее: фактическое стеснение жизни; о противуречии сожития старого студента с шиллеровскими мечтами – с женщиной, для которой не только мир Шиллера не существовал, но и мир грамотности, мир всего светского образования, – ему и в голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица *inter pares amicitia*<sup>146</sup> совершенно верна, и всякий *mesalliance*<sup>147</sup> – вперед посеянное несчастье. Много глупого, надменного, буржуазного разумелось под этим словом, но сущность его истинна. В худшем из всех неравенств – в неравенстве развития – одно спасение и есть: воспитание одного лица другим; но для этого надобно два редкие дара: надобно, чтоб один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтоб один вел, другой шел. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталость; он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бывает и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитие превращается в консолидированную войну, в вечное единоборство, в котором лица крепнут и остаются на веки веков в бесплодных усилиях, с одной стороны, поднять и, с другой – стянуть, то есть отстоять свое место. При равных силах этот бой поглощает жизнь, и самые крепкие натуры истощаются и падают обессиленными среди дороги. Падает всего прежде на(220)тура развитая; ее эстетическое чувство глубоко оскорблено двойным строем, лучшие минуты, в которые все звонко и ярко, ей отравлены... Экспансивные люди страстно требуют, чтоб все близкое им было близко их мысли, их религии. Это принимается за нетерпимость. Для них прозелитизм дома продолжение апостольства, пропаганды; их счастье оканчивается там, где их не понимают... а чаще всего их не хотят понять.

Позднее воспитание сложившейся женщины – дело очень трудное, особенно трудное в тех сожитиях, которыми оканчиваются, а не начинаются близкие отношения. Связи, легко, ветрено начатые, редко поднимаются выше спальни и кухни. Общая крыша слишком поздно покрывает их, чтоб под ней можно было учиться, разве какое-нибудь страшное несчастье разбудит душу спящую, но способную проснуться. По большей части *la petite femme*<sup>148</sup> никогда не делается большой, никогда не делается женой и сестрой вместе. Она остается или любовницей и лореткой или делается кухаркой и любовницей.

Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность. Но одинаковость развития сглаживает многое. А когда его нет, а есть праздный досуг, нельзя вечно пороть вздор, говорить о хозяйстве или любезничать; а что же делать с женщиной, когда она – что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо телесно близкое и умственно далекое. Ее не нужно днем, а она беспрестанно тут; мужчина не может делить с ней своих интересов, она не может не делить с ним своих сплетен.

Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход про(221)верен. Вот в эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Бесследным это не остается.

Бывают прочные отношения сожития мужчины с женщиной без особенного равенства развития, основанные на удобстве, на хозяйстве, я почти скажу, на гигиене. Иногда это – рабочая ассоциация, взаимная помощь, соединенная с взаимным удовольствием; большей частью жена берется, как сиделка, как добрая хозяйка, "*roue avoie un bon pot-au-feu*"<sup>149</sup>, как говорил мне Прудон. Формула старой юриспруденции очень умна: *a mensa et toro*<sup>150</sup>, – уничтожь общий стол и общую кровать, они и разойдутся с покойной совестью.

Эти деловые браки – чуть ли не лучшие. Муж постоянно в своих занятиях, ученых, торговых, в своей канцелярии, конторе, лавке. Жена постоянно в белье и припасах, Муж возвращается усталый, все готово у него, и все идет шагом и маленькой рысцой к тем же воротам кладбища, к которым доехали родители. Это явление чисто городское; 151 в Англии оно является чаще, чем где-либо; это та среда мещанского счастья, о котором проповедовали моралисты французской сцены, о котором мечтают немцы; в ней легче уживаются разные степени развития через год после окончания курса в университете; тут есть разделение труда и чиновничество. Муж, особенно при капитале, делается тем, чем его назвал смысл народный – хозяин, "mon bourgeois" своей жены. Этим путем, и благодаря законам о наследстве, он не зарастет травой: всякая женщина постоянно остается женщиной на содержании, если не у постороннего, то у своего мужа. Она это знает.

Dessen Brot man i?t,

Dessen Lied man singt 152.

Но в этих браках есть свое нравственное единство, есть свое одинаков воззрение, свои одинакие цели. Кетчер сам цели не имел и равно не мог быть ни "хозяином", ни воспитателем. Он не мог с Серафимой даже (222) бороться – она всегда уступала. Своим криком, своим строптивым характером он запугал ее. При ее развитом сердце – г у нее было тяжелое, упирающееся понимание, та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно не привыкших к отвлеченной работе, и которая составляет одну из отличительных черт допетровских времен. Соединенная с своим "кровным, болезненным", она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бедности? Да разве она всю жизнь не была бедна, разве она не вы-"если нищету – эту бедность с унижением? Работы? Разве она не работала с утра до ночи в мастерской за несколько грошей? Ссоры, разлуки? Да, последнее было страшно, и очень; но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было с ней в самом деле поссориться, а каприз она вынесла бы; пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть уверенной, что он ее хоть немного любит и не хочет с ней расстаться. И он этого не хотел, и на это, сверх всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кет-чера, она стала заменять чего в ней не было – постоянным уходом и заботливостью.

Кетчеру было за сорок лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома так, как киргиз в кибитке: без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исполдволь все меняется, он окружен сетью внимания и услуг, он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен, ужас и слезы, когда он поднимает брови; и это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома жаль же было и ее оставлять постоянно одну, к тому же трудно было, чтоб Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорностью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает, без rancune 153, чтоб туча прошла.

Покорная, безответная до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела (223) огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бедная, глупая Тереза Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства?

Влияние Серафимы на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен; Тереза развила подозрительность его в мелкую обидчивость и, нехотя, без умысла, рассорила его с лучшими друзьями. Помните, что Тереза никогда не умела порядком читать и никогда не могла выучиться узнавать, который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства.

Утром Руссо заходит к Гольбаху; человек приносит завтрак и три куверта: Гольбаху, его жене и Гримму; в разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. "Да останьтесь же завтракать", – говорит г-жа Гольбах и велит подать прибор; но уже поправлять поздно. Руссо, желтый от гсады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru тарелки, намекая, чтоб он ушел. Ей такие рассказы по душе; в них она могла принять горячее участие: они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на m-me Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы (например, от Юма) и удаляется, оставленный всеми, в Монморанси, проклиная, за недостатком людей, воробьев и ласточек, которым бросал зерна.

Еще раз – без равенства нет брака в самом деле. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, – наложница, экономка, нянька, но не жена в полном, в благородном значении слова. Гейне говорил о своей "Терезе", что "она не знает и никогда не узнает о том, что он писал". Это находили милым, смешным, и никому не приходило в голову спросить: "Зачем же она была его женой?" Мольер, читавший своей кухарке свои комедии, был во сто раз человечественнее. Зато m-me Айн и заплатила, вовсе нехотя, своему мужу. В последние годы его стра(224)дальческой жизни она окружила его своими приятельницами и приятелями, увядшими камелиями прошлого сезона, сделавшимися нравственными дамами от морщин, и полинялыми, поседевшими, падшими на ноги друзьями их.

Я нисколько не хочу сказать, что жена непременно должна и делать и любить, что делает и любит муж. Жена может предпочитать музыку, а муж – живопись, это не разрушит равенства. Для меня всегда были ужасны, смешны и бессмысленны официальные таскания мужа и жены, и чем выше, тем смешнее; зачем какой-нибудь императрице Евгении являться на кавалерийское учение и зачем Виктории возить своего мужчину, Ie Prince Consort154, на открытие парламента, до которого ему дела нет. Гёте прекрасно делал, что не возил свою дородную половину на веймарские куртаги. Проза их брака была не в этом, а в отсутствии всякого общего поля, всякого общего интереса, который бы связывал их помимо полового различия.

Перехожу ко вреду, который мы сделали бедной Серафиме.

Ошибка, сделанная нами, – опять-таки родовая ошибка всех утопий и идеализмов. Верно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого внимания, к чему эта сторона приросла и можно ли ее отделить, никакого внимания на глубокое сплетение жил, связывающих дикое мясо со всем организмом. Мы всё еще по-христиански думаем, что стоит сказать хромому. "Возьми одр твой и ступай", он и пойдет.

Мы разом перебросили затворницу Серафиму – Серафиму полудикую, не выдавшую людей, из ее одиночества в наш круг. Ее оригинальность нравилась, мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, что и так хорошо. Но оставаться просто по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы – революционеры, социалисты, защитники женского освобождения сделали из наивного, преданного, простодушного существа московскую мещанку! (225)

Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа – еpicier?155

Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Natalie поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих; пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией. Ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью – напротив, желание, чтоб ее не заметили. Как дитя, как слабый зверек, она прибегала под крыло Natalie; ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей в ученье, то есть в мастерской.

Она сделалась игрушкой нашего круга, – это наконец ей понравилось; она поняла, что ее положение, что она сама – оригинальны, и с этой минуты она пошла ко дну; никто не удержал ее. Одна Natalie серьезно думала о том, чтоб развить ее. Серафима не принадлежала к гуртовым натурам, ее миновало множество дрянных недостатков – она не любила рядиться, была равнодушна к роскоши, к дорогим вещам, к деньгам – лишь бы Кетчер не чувствовал нужды, был бы доволен, до остального ей не было дела. Сначала Серафима любила долго-долго говорить с Natalie и верила ей, кротко слушала ее советы и старалась им следовать... Но,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru оглядевшись, обжившись в нашем круге и, может, подстрекаемая другими, тешившимися ее странностями, она начала показывать страдательную оппозицию и на всякое замечание говорила далеко не наивно: "Уж я такая несчастная... где мне меняться да переделываться? Видно, уж такая глупая и бесталанная и в могилку сойду". В этих словах, с ведома или без ведома, звучало задетое самолюбие. Она перестала себя чувствовать свободной у нас, реже и реже ходила она к нам. "Бог с ней, с Н. А., - говорила она, - разлюбила она меня, бедную". Панибратство, пансионская фамильярность были чужды Natalie; в ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства. Серафима не поняла смысла разницы в обхождении с (226) нею Natalie и других и забыла, кто первый протянул ей руку и прижал к сердцу; вместе с ней отдалился и Кетчер, все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность Кетчер а удвоилась. В каждом неосторожном слове он видел преднамеренность, злой умысел, желание обидеть, и не его одного, а и Серафиму. Она, с своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за Кетчера, и, по закону нравственной реверберации<sup>156</sup>, собственные подозрения его возвращались к нему удешевленными. Его обличительная дружба стала превращаться в желание найти в нас вины, в надзор, в постоянное полицейское следствие, и мелкие недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны их,

В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врывать пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразительной; постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки.

Вся эта едкая пыль насаждала во все щели и мало-помалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер с своими обвинениями против меня и Огарева. Грановский не верил им; но, жалея "больного, огорченного и все-таки любящего" Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости.

- Ведь ты знаешь, что у него нрав такой; это - болезнь, влияние доброй Серафимы, но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении.

.....

Чтоб кончить этот грустный рассказ, приведу два примера... В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофея в Покровском. (227)

Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек пять близких знакомых и в том числе Михаил Семенович.

- Нанял ты нынешний год дом в Соколове?
- Нет еще, денег нет, а там надобно платить вперед.
- Неужели же все лето останешься в Москве?
- Подожду немного, потом увидим.

Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь.

Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корш и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови; но наконец все были обстреляны.

Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый; лист только что развернулся; мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановясь передо мной, с лицом прокурора фемического суда и с дрожащей от негодования губой, сказал мне:

- А надобно тебе честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
он еще не заплатил тебе девятьсот рублей, которые брал у тебя.

Я истинно ничего не понял, тем больше, что, наверное, год не думал об долге Щепкина.

- Деликатно, нечего сказать. Старик теперь без денег с своей огромной семьей собирается в Крым, а тут ему в присутствии пяти человек говорят: "Нет денег на наем дачи!" Фу, какая гадость!

Огарев вступился за меня, Кетчер накинулся на него; нелепым обвинениям не было конца; Грановский попробовал его унять, не смог и уехал с Коршем прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел исподлобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой.

Я хотел на этот раз дать сильный урок и если не вовсе прервать, то приостановить сношения с Кетчером. Он раскаивался, плакал; Грановский требовал мира, говорил с Natalie, был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: "ведь это на три дня".

Вот прогулка, а вот и другая. (228)

Месяца через два мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал "х провозать верхом на своей черкесской лошади; не было ни тени ссоры, размолвки.

...Огарев возвратился через два-три часа; мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись.

На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке; он был задумчив, грустнее обыкновенного, и наконец сказал мне, что у него есть что-то на душе и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой знают все, бывшие в Соколове.

- Герцен, - сказал мне Грановский, - если б ты знал, как мне тяжело, как больно... как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь... и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут, как на смех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность...

- Да что случилось, скажи, пожалуйста? - спросил я, действительно испуганный.

- То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным: я стараюсь, делаю, что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать.

- Да дело-то в чем?

- А вот в чем: вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провозать верхом.

- При мне было, да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил.

- На мосту Кортик зашалил, стал на дыбы; Огарев, усмиряя его, с досады выругался при Серафиме, и она слышала... да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает: "Отчего на него не находят рассеянности в присутствии твоей жены или моей?" что на это сказать?., и притом, при всей простоте своей, Серафима очень сусептибельна<sup>157</sup>, что при ее положении очень понятно.

Я молчал. Это перешло все границы.

- Что ж тут делать?

- Очень просто: с негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно (229) раззнакомиться. С такими людьми быть близким гом презрительно...

- Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно.

- Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его



Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
безграничную деликатность, повторяешь бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе.

Грановский смутился.

– Боже мой! – сказал он, – неужели наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды, –ч– неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую, мне было очень тяжело.

– Грановский, – сказал я ему, – Корш прав: мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в построики... Gemach! друг мой, Gemach!<sup>158</sup> Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края, – мы разойдемся без ненависти и злобы; что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.

Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было.

Огарев действительно осенью уехал, а вслед за ним – и мы.

Laurel House, Putney, 1857.

Лересмотрено в Буасьере

и на дороге в сентябре 1865.

...Реже и реже доходили до нас вести о московских друзьях. Запуганные террором после 1848 они ждали верной оказии. Оказии эти были редки, паспортов почти не выдавали. От Кетчера – годы целые ни слова; впрочем, он никогда не любил писать.

Первую живую весть, после моего переселения в Лондон, привез в 1855 году доктор Никулин... Кетчер был в своей стихии, шумел на банкетах в честь севастопольцев, обнимался с Погодиным и Кокоревым, обнимался с черноморскими моряками, шумел, бранился, (230) поучал. Огарев, приехавший прямо со свежей могилы Грановского, рассказывал мало; его рассказы были печальны...

Прошло еще года полтора. В это время была окончена мною эта глава и кому первому из посторонних прочтена? – Да, – habent sua fata libelli!<sup>159</sup>

Осенью 1857 года приехал в Лондон Чичерин. Мы его ждали с нетерпением; некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и Кетчера, он для нас представлял близкого человека. Слышали мы о его жесткости, о консерваторских веллеитетах<sup>160</sup>, о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод... Много угловатого обтачивается течением времени.

– Я долго думал, ехать мне к вам или нет. К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть... Я же, как вы знаете, вполне уважая вас, далеко не во всем согласен с вами.

Вот с чего начал Чичерин.

Он подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я почуял, что это не противник, а враг, но подавил физиологический сторожевой окрик, – и мы разговорились.

Разговор тотчас перешел к воспоминаниям и к расспросам с моей стороны. Он рассказывал о последних месяцах жизни Грановского, и, когда он ушел, я был довольнее им, чем сначала.

На другой день после обеда речь зашла о Кетчере. Чичерин говорил об нем, как о человеке, которого он любит, беззлобно смеясь над его выходками; из подробностей, сообщенных им, я узнал, что обличительная любовь к друзьям продолжается, что влияние Серафимы дошло до того, что многие из друзей ополчились против нее, исключили из своего общества и пр. Увлеченный рассказами

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru и воспоминаниями, я предложил Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о Кетчере и прочел ее всю. Я много раз раскаивался в этом, не потому, чтоб он во зло употребил читанное мною, а потому, (231) что мне было больно и досадно, что я в сорок пять лет мог разоблачать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим "темпераментом".

Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.

- Зачем вы хотите быть профессором, - спрашивал я его, - и ищете кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель.

Споря с ним, проводили мы его на железную дорогу и расстались, не согласные ни в чем, кроме взаимного уважения.

Из Франции он написал мне недели через две письмо, с восхищением говорил о работниках, об учреждениях. "Вы нашли то, что искали, - отвечал я ему, - и очень скоро. Вот что значит ехать с готовой доктриной". Потом я предложил ему начать печатную переписку и написал начало длинного письма.

Он не хотел, говорил, что ему некогда, что такая полемика будет вредна...

Замечание, сделанное в "Колоколе" о доктринах вообще, он принял на свой счет; самолюбие было задето, и он мне прислал свой "обвинительный акт", наделавший в то время большой шум.

Чичерин кампанию потерял, - в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в "Колоколе", был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано. Мы еще шли тогда в восходящем пути, и катковские бревна трудно было (232) класть под ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом: он был еще нов тогда. Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна - Ифигения Зимнего дворца, Тимашев, начальник III отделения, и Н. Х. Кетчер.

Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же откровенным негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина... И это не потому, чтоб "Грандисона Ловласу предпочла", а потому, что, носимый без собственного компаса а la ge-mogque161 кружка, он остался верен ему, не замечая, что тот плывет в противоположную сторону. Человек котерии162, - для него вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот.

Никогда не доработавшись ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения, он шел с благородными стремлениями и завязанными глазами и постоянно бил врагов, не замечая, что позиции менялись, и в этих-то жмурках бил нас, бил других, бьет кого-нибудь и теперь, воображая, что делает дело.

Прилагаю письмо, писанное мною к Чичерину для начала приятельской полемики, которой помешал его прокурорский обвинительный акт.

"My learned friend163.

Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены в том, что знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было так и так, настоящее должно быть так и так и привести к такому-то будущему: вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru досталась завидная доля священников – утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение – открытый (233) вопрос, доктрина – вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение – никогда не достигает такой резкой законченности; оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений. Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за едино-спасающий угол, а сомнение ищет отделаться от всех углов, осматривается, возвращается назад и часто парализует всякую деятельность своим смирением перед истиной. Вы, ученый друг, определенно знаете, куда идти, как вести, – я не знаю. И оттого я думаю, что нам надобно наблюдать и учиться, а вам – учить других. Правда, мы можем сказать, как не надобно, можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль, освободить ее от цепей, улетучить призраки – церкви и съезжей, академии и уголовной палаты – вот и все; но вы можете сказать, как надобно.

Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, то есть отношение с точки зрения вечности; временное, преходящее, "лица, события, поколения едва входят в Campo Santo<sup>164</sup> науки или входят уже очищенные от живой жизни, вроде гербария логических теней.", Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет, как в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания, доктрина держит себя, как Симеон Столпник – на пьедестале, жертвуя всем временным – вечному, общим идеям – живыми частностями.

Словом, доктринеры – больше всего историки, а мы вместе с толпой – ваш субстрат; вы – история *fur sich*<sup>165</sup>, мы – история *an sich*<sup>166</sup>. Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны мы, Вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете... вы – доктора и попы наши. Но больные и умирающие мы.

Этот антагонизм не новость, и он очень полезен для движения, для развития. Если б род людской мог весь поверить вам, он, может, сделался бы благоразумным, (534) но умер бы от всемирной скуки. Покойный Филимонов поставил эпитафией к своему "дурацкому колпаку": "Si la raison dominait le monde, il ne sy paeserait rien"<sup>167</sup>.

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ее дают ей обширную возможность обобщений, – она должна бояться впечатлений, и, как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало. Но для деятельного вмешательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает. Всеобщее он понимает, а частное любит или ненавидит. Спиноза со всею мощью своего откровенного гения проповедовал необходимость считать существенным одно неточное молю, вечное, неизменное субстанцию и не полагать своих надежд на случайное, частное, личное. Кто это не поймет в теории? Но только привязывается человек к одному частному, личному, современному; в уравнивании этих крайностей, в их согласном сочетании – высшая мудрость жизни.

Если мы от этого общего определения наших противоположных точек зрения перейдем к частным, мы, при одинаковости стремлений, найдем не меньше антагонизма даже в тех случаях, когда мы согласны вначале. Примером это легче объяснить.

Мы совершенно согласны в отношении к религии; но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с подлунной религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из гвельфов вы сделались гибеллином, чины небесные заменились для вас государственным чином, поглощение лица в божество – поглощением его в государство, бог заменен централизацией и поп – кварталным надзирателем.

Вы в этой перемене видите переход, успех, мы – новые цепи. Мы не хотим быть ни гвельфами, ни гибеллинами. Ваша светская, гражданская и уголовная религия тем страшнее, что она лишена всего поэтического, фантастического, всего детского характера своего, который заменится у вас канцелярским порядком, (235) идолом государства с царем наверху и палачом внизу. Вы хотите, чтобы человечество, освободившееся от церкви, ждало столетия два в передней присутственного места, пока каста жрецов–чиновников и монахов–доктринеров решит, как ему быть вольным и насколько. Вроде наших комитетов об освобождении крестьян. А нам все это

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
противно; мы можем многое допустить, сделать уступку, принести жертву  
обстоятельствам, но для вас это не жертва. Разумеется, и тут вы счастливее нас.  
Утратив религиозную веру, вы не остались ни при чем, и, найдя, что гражданские  
верования человеку заменяют христианство, вы их приняли – и хорошо сделали – для  
нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это нам першит в горле, и мы ваше  
присутственное место, вашу централизацию ненавидим совсем не меньше инквизиции,  
консistorии, Кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу? Вы как учитель хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы как стадо, приходящее к сознанию, не хотим, чтоб нас пасли, а хотим иметь  
свои земские избы, своих поверенных, своих подьячих, которым поручать хождение  
по делам. Оттого нас правительство оскорбляет на всяком шагу своей властью, а вы  
ему рукоплещете так, как ваши предшественники, попы, рукоплескали светской  
власти. Вы можете и расходиться с ним так, как духовенство расходилось, или как  
люди, ссорящиеся на корабле, как бы они ни удалялись друг от друга: за борт вы  
не уйдете, и для нас, мирян, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религия – апотеоза государства, идея чисто романская и в новом мире  
преимущественно французская. С нею можно быть сильным государством, но нельзя  
быть свободным народом; можно иметь славных солдат... но нельзя иметь  
независимых граждан. Северо-Американские штаты, совсем напротив, отняли  
религиозный характер полиции и администрации до той степени, до которой это  
возможно..."

#### ЭПИЛОГ

Перечитывая главу о Кетчере, невольно призадумываешься о том, что за чудачки, что  
за оригинальные личности живут и жили на Руси! Какими капризными раз(236)витиями  
сочилась и просочилась история нашего образования. Где, в каких краях, под каким  
градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная,  
безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме  
Москвы?

А сколько я их нагляделся – этих оригинальных фигур "во всех родах различных",  
начиная с моего отца и оканчивая "детьми" Тургенева.

"Так русская печь печет!" – говорил мне Погодин. И в самом деле, каких чудес она  
ни печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий лад... от саек и калачей до  
православных булок с Гегелем и французских хлебов а la quatre-vingt-treize!168  
Досадно, если все эти своеобразные печенья пропадут бесследно. Мы останавливаемся  
обыкновенно только на сильных деятелях.

...Но в них меньше видна русская печь, в них ее особенности поправлены,  
выкуплены; в них больше русского склада да ума, чем печи. Возле них пробиваются,  
за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившиеся с дороги... вот в их-то  
числе не оберешься чудаков.

Волосяные проводники исторических течений, капли дрожжей, потерявшихся в опаре,  
но поднявших ее не для себя. Люди, рано проснувшиеся темной ночью и ощупью  
отправившиеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дороге, – они  
разбудили других на совсем иной труд.

...Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля от полного забвения. Их уж  
теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезаются  
вершины гор и утесов...

#### ЭПИЗОД ИЗ 1844 ГОДА

К нашей второй виллежиатуре относится очень характеристический эпизод; его не  
пометить просто жаль, несмотря на то, что я и Natalie участвовали в нем очень  
мало. Эпизод этот можно было бы назвать: Арманс и Базиль – философ из учтивости,  
христианин из вежливости и Жак Ж. Санда, делающийся Жаком-фаталистом. (237)

Начался он на французской томболе.

Зимой 1843 я поехал на томболу. Публики было бездна, помнится тысяч пять  
человек; знакомых почти никого. Базиль шмыгнул с какой-то маской, – ему было не

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru до менд, Он слегка покачал головой и прищурил ресницы так, как делают знатоки, находя вино превосходным и бекаса удивительным.

Бал был в зале Благородного собрания, Я походил, посидел, Глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьерро, ото всей души усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных канка-неров... и пошел ужинать наверх, Там-то меня отыскал Базиль. Он был совершенно не в нормальном положении, а в первом разгаре острого периода любви; он у него был тем острее, что Базилю тогда было около сорока лет и волос начал падать с возвышенного чела. Бессвязно толковал он мне о какой-то французской "Миньоне, со всей простотой "Клерхен" и со всей игривой прелестью парижской гризетки..."

Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, а на последней, вместо оглавления, счет; но убедился, что это не так.

Базиль видел свою парижанку во второй или третий раз и вел циркумволюционные линии, не бросаясь на приступ. Он меня познакомил с ней. Арманс, действительно, была живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца. От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги - все в ней принадлежало благородному плебейству великого города. Она еще была работница, а не мещанка. У нас этот тип никогда не существовал. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и середь всего чутье самосохранения, чутье опасности и чести. Дети, брошенные иногда с десяти лет на борьбу с бедностью и искушениями, беззащитные, окруженные заразой Парижа и всевозможными сетями, они сами становятся своим провидением и охраной. Такие девушки могут легко отдаться, но взять их невзначай, врасплох трудно. Те из них, которых можно бы было купить, - те до этого круга работниц не доходят: они уже куплены прежде, завертелись, унеслись и исчезли в омуте другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтоб через пять-шесть лет явиться (238) в своей коляске по Longchamp или в первом ярусе оперы в своей ложе - *mit Perlen und Diamanten*169.

Базиль был влюблен по уши. Резонер в музыке и философ в живописи, он был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях. На жизнь он смотрел так, как Речер на Шекспира, возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее, словом не оставляя в своей непосредственности ни одного движения души. Взгляд этот, впрочем, в разных степенях принадлежал тогда почти всему кружку; иные срывались талантом, другие живостью, но у всех еще долго оставался - у кого жаргон, у кого и самое дело. "Пойдем, - говорил Бакунин Тургеневу в Берлине, в начале сороковых годов, - окунуться в пучину действительной жизни, бросимся в ее волны", - и они шли просить Варнгагена фон Энзе, чтоб он их ввел ловким купальщиком в практические пучины и представил бы их одной хорошенькой актрисе. Понятно, что с этими приготовлениями не только ни до какого купанья в страстях, "разъедающих тайники духа нашего", но вообще ни до какого поступка дойти нельзя. Не доходят до них и немцы; но зато немцы и не ищут поступков, а как бы поспокойнее. Наша натура, напротив, не выносит этого постного отношения - *des theoretischen Schwelgens*170, запутывается, спотыкается и падает больше смешно, чем опасно.

Итак, влюбленный и сорокалетний философ, щуря глазки, стал сводить все спекулятивные вопросы на "демоническую силу любви", равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам Омфалы, начал уяснять себе и другим нравственную идею семьи, почву брака. Со стороны Гегеля (Гегелевой философии права, глава *Sittlichkeit*171) препятствий не было. Но призрачный мир случайности и "кажущегося", мир духа, не освободившегося от преданий, не был так сговорчив. У Базиля был отец - Петр Кононыч, -старый кулак, богач, который сам был женат последовательно на трех и от каждой (239) имел человека по три детей. Узнав, что его сын, и притом старший, хочет жениться на католичке, на нищей, на французенке, да еще с Кузнецкого моста, он решительно отказал в своем благословении. Без родительского благословения, может, Базиль, принявший в себя шик и момент скептицизма, как-нибудь и обошелся бы, но старик связывал с благословением не только последствие *jenseits* (на том свете), но и *diesseits* (на этом), а именно наследство.

Препятствие старика, как всегда, двинуло дело вперед, и Базиль стал подумывать о скорейшей развязке. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика принять *un fait accompli*172 или скрыть от него брак в

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
ожидании, что он скоро не будет ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться  
наследством.

Но непросветленный мир преданий и тут подставлял свою ногу. Обвенчаться под  
сурдинку в Москве было не легко, чрезвычайно дорого и тотчас бы дошло до отца  
через дьяконов, архидьяконов, дьячков, просвирен, свах, приказчиков, сидельцев и  
разных потаскушек. Положено было посондировать нашего отца Иоанна в с.  
Покровском, известного читателям нашим своей историей о похищении в нетрезвом  
виде серебряных "часов и шкатулки" у дьячка.

Отец Иоанн, узнав, что непокорному сыну около сорока лет, что невеста не русская  
и что родителей ее здесь нет, что, сверх меня, подпишется свидетелем  
университетский профессор, – стал меня благодарить за такую милость, полагая,  
вероятно, что я старался женить Базилья для доставления ему двухсотенной бумажки.  
Он был до того тронут, что закричал в другую комнату: "Попадья, попадья, выпусти  
два-три яичка!", и достал из шкапа полуштоф, заткнутый бумажкой, для того чтоб  
меня попотчевать.

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Арманс должна была приехать к нам в  
Покровское погостить; Базиль (хотевший ее сопровождать) – возвратиться в Москву  
и, окончательно устроившись, идти от отцовского проклятия под благословение  
пьяненького отца Иоанна. (240)

...Ожидая i promessi sposi<sup>173</sup>, мы велели приготовить ужин и сели ждать. Ждем,  
ждем; бьет двенадцать ночи. Никого нет... Час – никого нет. Дамы пошли уснуть; я  
с Грановским и Кетчером принялся за ужин.

Le ore suonam, quadratio,

E un, e due, e Ire...<sup>174</sup>

Ma<sup>175</sup>... их нет, как нет.

...Наконец, колокольчик... ближе и ближе; повозка простучала по мосту. Мы  
бросились в сени. Тарантас, заложенный тройкою, быстро въезжал на двор и  
остановился. Вышел Базиль. Я подошел дать руку Арманс; она вдруг меня схватила  
за руку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул, и потом разом бросилась мне  
на шею, с хохотом повторяя: "Monsieur Herstin"... Это был не кто иной, как  
Виссарион Григорьевич Белинский in propria persona<sup>176</sup>.

В тарантасе не было больше никого. Мы смотрели друг на друга с удивлением, кроме  
Белинского, который хохотал до кашля, и Базилья, который чуть до насморка не  
плакал. К дополнению эффекта надобно заметить, что два дня тому назад в Москве о  
Белинском и слуху не было.

– Давайте мне есть, – сказал, наконец, Белинский, – я вам расскажу там, какие у  
нас были чудеса; надобно же выручить несчастного Базилья, который вас боится  
больше Арманс.

Вот что случилось. Видя, что дело быстро приближается к развязке, Базиль  
испугался, начал рефлектировать и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый  
фатализм брака, неразрушимость его по Кормчей книге и по книге Гегеля. Он  
заперся, отданный на жертву духу мучительного исследования и беспощадного  
анализа. Страх возрастал с часу на час, и тем больше, что дорога к отступлению  
была тоже не легка и что решиться на нее почти надобно было иметь столько же  
характера, как и на самый брак. Страх этот рос до тех пор, пока в дверь  
постучался Белин(241)ский, приехавший из Петербурга прямо к нему в дом. Базиль  
рассказал ему весь ужас, с которым он идет на сретение своего счастья, и все  
отвращение, с которым он вступает в бракосочетание по любви, и требовал его  
совета и помощи.

Белинский отвечал ему, что надобно быть сумасшедшим, чтоб после этого,  
сознательно и зная вперед, что будет, положить на себя такую цепь.

– Вот Герцен, – говорил он, – и женился, и жену свою увез, и за ней приезжал из  
ссылки; а спроси его – он ни разу не задумывался, следует ему так делать или нет

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru и какие будут последствия. Я уверен, что ему казалось, что он – не может иначе поступить. Ну, ему и вытанцевалось. А ты то же хочешь сделать, лю-бомудрствуя и рефлектируя.

Только этого и надо было Базилю. Он в ту же ночь написал Арманс диссертацию о браке, о своей несчастной рефлексии, о неспособности простого счастья для пытливого духа, излагал все невыгоды и опасности их соединения и спрашивал Арманс совета, что им теперь делать?

Ответ Арманс он привез с собой.

В рассказе Белинского и письме Арманс обе натуры – ее и Базиль – вполне вышли, как на ладони. Действительно, брачный союз таких противоположных людей был бы странен. Арманс писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлексии его не понимала, а видела в них предлог, охлаждение; говорила, что в таком случае не должно быть и речи о свадьбе, развязывала его от данного слова и заключила тем, что после случившегося им не следует видеться. "Я вас буду помнить, – писала она, – с благодарностью и нисколько не виню вас: я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!"

Такое письмо, должно быть, не совсем приятно получить. В каждом слове сила, энергия и немного свысока. Дитя славного плебейского кряжа, Арманс поддержала свое происхождение. Будь это англичанка, как бы крепко она ухватилась за письмо Базиль, как ртом бы своего добродетельного соллиситора177 расска(242)зала с негодованием, с стыдом о первом пожатии руки, о первом поцелуе... и как бы ее адвокат, со слезами на глазах и мелом в парике, потребовал бы у присяжных вознаградить обиженную невинность тысячью или двумя фунтов...

Француженке, бедной швее, и в голову этого не пришло.

Два или три дня, которые они провели в Покровском, были печальны для экс-жениха. Точно ученик, сильно напакостивший в классе и который боится и учителя и товарищей, Базиль потерпел день-другой и уехал в Москву.

Вскоре мы услышали, что Боткин едет в чужие край. Он писал ко мне письмо смутное, недовольное собой, звал проститься. В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву; новая диссертация ехала в то же время из Москвы в Покровское к Natalie. Я отправился к Боткину и прямо попал на прощальный пир. Пили шампанское, и в тостах, в желаниях были какие-то странные намеки.

– Ведь ты не знаешь, – сказал мне Базиль на ухо, – ведь я... того... – и он прибавил шепотом: – ведь Арманс едет со мной. Вот девушка! Я теперь только ее узнал, – и он качал головой.

Это стоило появления Белинского.

В эпистоле к Natalie он пространно объяснял ей, что мысль и рефлексия о женитьбе повергли его в раздумье и отчаяние: он усомнился и в своей любви к Арманс и в своей способности к семейной жизни; что таким образом он дошел до мучительного сознания, что он должен все разорвать и бежать в Париж, что в этом расположении он явился смешным^ и жалким в Покровское... Решившись таким образом, он, перечитывая письмо Арманс, сделал новое открытие, именно, – что он Арманс любит очень много, и потому потребовал у нее свидания и снова предложил ей руку. Он думал опять о покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его. Венчаться он собирался в Петербурге и тотчас ехал во Францию. "Арманс рада, как ребенок".

В Петербурге Базиль придумал венчаться в Казанском соборе. Чтоб при этом философия и наука не были забыты, он пригласил для совершения обряда (243) протоиерея Сидонского, ученого автора "Введения в науку философии". Сидонский давно знал Базиль по его статьям, как свободного светского мыслителя и немецкого любомудра. После всех чудес, бывших с Арманс, ей досталась честь, редко достоящая: послужить поводом одной из самых комических встреч двух заклятых врагов – религии и науки.

Сидонский, чтоб блеснуть своим мирским образованием, перед венчанием стал говорить о новых философских брошюрах, и, когда все было готово и дьячок подал ему епитрахиль, к которой он приложился и стал надевать, он, потупя взоры,

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
сказал Боткину:

- Вы извините: обряды-с - я весьма хорошо знаю, что христианский ритуал сделал свое время, что...

- О, нет, нет! - прервал его Базиль голосом, полным участия и сострадания. - Христианство вечно - его сущность, его субстанция не может пройти.

Сидонский поблагодарил целомудренным взглядом "рыцарственного" антагониста, обратился к клиру и запел: "Благословен бог наш... и ныне, и присно, и во веки веков". - "Аминь!" - грянул клир, и дело пошло своим порядком, и Базиля в венце и Арманс в венце повел Сидонский круг аналая... заставляя ликовать Исаяю.

Из собора Базиль отправился с Арманс домой и, оставив ее там, явился на литературный вечер Краев-ского. Через два дня Белинский посадил молодых на пароход... Теперь-то, подумают, история, наверное, окончена.

Нисколько.

До Каттегата дело шло очень хорошо, но тут попался проклятый "Жак" Ж. Санда.

- Как ты думаешь о Жаке? - спросил Базиль Арманс, когда она кончила роман.

Арманс сказала свое мнение.

Базиль объявил ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляет своим суждением глубочайшие стороны его духа и что его мирозерцание не имеет ничего общего с ее.

Сангвиническая Арманс не хотела менять мирозерцания; так прошли оба Бельта.

Вышедши в Немецкое море, Боткин почувствовал себя больше дома и сделал еще раз опыт переменить (244) мирозерцание, убедить Арманс - иначе взглянуть на Жака.

Умиравшая от морской болезни, Арманс собрала последние силы и объявила, что мнения своего о Жаке она не переменит.

- Что же нас связывает после этого? - заметил сильно расходившийся Боткин.

- Ничего, - отвечала Арманс, - *et si vous me cherchez querelle*178, так лучше просто расстаться, как только коснемся земли.

- Вы решились? - говорил Боткин, петушась. - Вы предпочитаете?..

- Все на свете, чем жить с вами; вы - несносный человек - слабый и тиран.

- Madame!

- Monsieur!

Она пошла в каюту; он остался на палубе. Арманс сдержала слово: из Гавра уехала к отцу и через год возвратилась в Россию одна, и притом в Сибирь.

На этот раз, кажется, история этого перемежающегося брака кончилась.

А впрочем, Барер говорил же: "Только мертвые не возвращаются!"

(Писано в 1857, Putney. Laurel House.)

1 бизнес, занятие (англ.).

2 сдержанность (франц.).

1 запрет (лат.).

2 в сущности (от франц. *au fond*).

3 власти природы (нем).



- 4 обиды (франц).
- 5 в нетронутном виде (лат.).
- 6 душевному состоянию (от нем. Gemüt).
- 7 наоборот (лат.).
- 8 испытать из самого источника (лат.).
- 9 жаргона (франц).
- 10 дух (нем.).
- 11 "Сущность христианства" (нем.).
- 12 они более роялисты, чем сам король (франц).
- 13 нижние этажи (франц.).
- 14 в тесной компании (франц).
- 15 благопристойную и умеренную (франц.).
- 16 мещанину (от нем. Spiessburger).
- 17 школьник... будущий рассудительный мужчина, умеющий воспользоваться положением (франц.).
- 18 Ключников пластически выразил это следующим замечанием "Станкевич серебряный рубль, завидующий величине медного пятака" (Анненков. Биография Станкевича, стр. 133). (Прим. А. И. Герцена.).
- 19 гуманизм (лат).
- 20 стой, путник! (лат.).
- 21 В. Гюго, прочитав "Былое и думы" в переводе Делава, писал мне письмо в защиту французских юношей времен Реставрации. (Прим. А. И. Герцена.).
- 22 "Исповедь сына века" (франц).
- 23 Намотай это себе на ус (франц.).
- 24 основании (от франц. fond).
- 25 я честным словом уверяю, что слово "мерзавец" было употреблено почтенным старцем. (Прим, А. И. Герцена.)
- 26 отец семейства (лат.).
- 27 расстроенный (франц.).
- 28 чернить правительство (франц.).
- 29 жутко (нем.).
- 30 Здравствуйте, г. Г., ваше дело идет превосходно (франц.).
- 31 Выставка детей (англ.).
- 32 на обе створки (франц).
- 33 Разрешите мне говорить по-немецки (нем.).
- 34 язвительен (от франц. caustique).

- Былое и думы (часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- 35 он был красавец мужчина (франц.).
  - 36 государственная тайна (франц.).
  - 37 мой милый заговорщик (франц.).
  - 38 все правительство (франц.).
  - 39 страсти (франц.).
  - 40 царедворцами (от франц. courtisan).
  - 41 Мисс Вильмот (Прим. А. И. Герцена.)
  - 42 морского (от франц. naval).
  - 43 настороже (франц.).
  - 44 Это до такой степени справедливо, что какой-то немец, раз десять ругавший меня в "Morning Advertiser", приводил в доказательство того, что я не был в ссылке, то, что я занимал должность советника губернского правления. (Прим. А. И. Герцена.)
  - 45 Духоборцев ли, я не уверен. (Прим. А. И. Герцена.)
  - 46 последний, решающий удар (франц.).
  - 47 участник ополчения 1812 г. (от лат. militia)
  - 48 "крещеная собственность". (Прим. А. И. Герцена)
  - 49 Аракчеев положил, кажется, 100 000 рублей в ломбард для выдачи через сто лет с процентами тому, кто напишет лучшую историю Александра I. (Прим. А. И. Герцена.)
  - 50 Аракчеев был жалкий трус, об этом говорит граф Толь в своих "Записках" и статс-секретарь Марченко в небольшом рассказе о 14 декабре, помещенном в "Полярной звезде". Я слышал о том, как он прятался во время старорусского восстания и как был без души от страха, от инженерского генерала Рейхеля. (Прим. А. И. Герцена.)
  - 51 Чрезвычайно досадно, что я забыл имя этого достойного начальника губернии, помнится, его фамилия Жеребцов. (Прим. А. И. Герцена.)
  - 52 Мучительное раздумье (нем.).
  - 53 Потерять имущество – потерять немного, Потерять честь – потерять много, Но завоеешь славу – и люди изменят свои мнения. Потерять мужество – все потерять. Тогда уж лучше было не родиться (нем.).
  - 54 чувствуешь себя запятнанным (франц.).
  - 55 лотерею (от итал. tombola).
  - 56 учителями (итал.).
  - 57 умения (франц.).
  - 58 тминная водка (от нем. Doppelkumme).
  - 59 Нет, сказал святой дух, я не сойду! (франц.)
  - 60 самонадеянность (франц.).
  - 61 Здесь: сплоченностью (франц.).
  - 62 отождествил (от франц. Identifier).

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
63 временами (франц.).

64 Здесь: 20 крейцеров (от нем. Zwanziger).

65 сюртуке (от франц. Paletot).

66 двойника (лат.).

67 высшего света (франц.).

68 во французском духе (франц.).

69 простолюдин (итал.).

70 Занавес! занавес! (франц.).

71 наши друзья-враги (франц.).

72 наши враги-друзья (франц.).

73 германизмом (от старонем. Teutschtum).

74 Сколь дорога отчизна благородному сердцу! (франц.).

75 Сперва народный гимн пели пренаивно на голос "God save the King" (Боже, храни короля (англ.)) да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный корпуса жандармов полковником Львовым.

Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний номер "Journal des Debats" и прибавил: "Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете". Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в "Северной пчеле", что между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой – в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание – и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. фразу эту вымарал граф С. Г. Строгонов, рассказывавший мне этот милый анекдот. (Прим. А. И. Герцена.).

76 Я был на первом представлении "Ляпунова" в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде "потешусь я в польской крови". Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых номера как-то стерты, не нашли сил аплодировать, [Прим. А. И. Герцена.).

77 оставьте всякую надежду (итал.).

78 светской жизни (англ.).

79 запретом (лат.).

80 Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

– Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

– Ах, это вы! – отвечал Чаадаев. – Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник? Прежде, кажется, был красный?

- Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Да, разве вы не знаете, что я - морской министр?
  - Вы? Да я думаю, вы никогда шляпкой не управляли.
  - Не черти горшки обжигают, - отвечал несколько недовольный Меншиков.
  - Да разве на этом основании, - заключил Чаадаев. Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят,
  - чем же? - спросил Чаадаев.
  - Помилуйте, одно чтение записок, дел, - и сенатор показал аршин от полу.
  - Да ведь вы их не читаете.
  - Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.
  - Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, - заметил Чаадаев. (Прим. А. И. Герцена.)
- 81 Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из "Записок" Якушкина. (Прим. А. И. Герцена.)
- 82 Риму и миру (лат.).
- 83 как дети (франц.).
- 84 "В дополнение к тому, - говорил он мне в присутствии Хомякова, - они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков". (Прим. А. И. Герцена.)
- 85 Писано во время Крымской войны. (Прим. А. И. Герцена.)
- 86 к вящей славе Гегеля (лат.).
- 87 разболтанности (франц.).
- 88 давно минувшие времена. (итал.).
- 89 болтовня (от франц. Causede).
- 90 "Колокол", лист 90. (Прим. А. И. Герцена.)
- 91 Писано в 1855 году. (Прим. А. И. Герцена)
- 92 "Народ" (франц.).
- 93 "чертова лужа" (франц.).
- 94 Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в "Develop. des idées revolüt." \*. (Прим. А. И. Герцена.)
- 95 Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам! (нем).
- 96 "Колокол", 15 января 1861. (Прим. А. И. Герцена.)
- 97 это внушает мрачные мысли! (франц.).
- 98 дядюшка (франц.).
- 99 мрачный (от франц macabre).
- 100 отвар (от франц. tisane)
- 101 смешно (от франц. ridicule).
- 102 что за век! (франц.).

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
103 противодействуют (от франц. contrecarrer).

104 снискание расположения (лат.).

105 он очень болтлив (франц.).

106 на полях (от франц. marge).

107 но, дорогой мой, это завещание Александра Великого (франц.).

108 "Былое и думы", часть 1, глава I. (Прим. А. И. Герцена.)

109 в конце концов (франц.).

110 ввод во владение (от лат. investire).

111 Какая занятная игра природы (франц.).

112 Здесь: нечто побочное (франц.).

113 по дороге (франц.).

114 прилежный (англ.).

115 публичных женщин (англ.).

116 по должности (лат.).

117 Здесь: стремление порисоваться (франц.).

118 за и против (лат.).

119 преодоленной трудности (франц.).

120 Граф изволил самым дружеским образом осведомиться у меня о вашем положении здесь (нем.).

121 все уравновешено (франц.).

122 склад (франц.).

123 Мне кажется, что, говоря о Дмитрие Павловиче, я не должен умолчать о его последнем поступке со мною. После кончины моего отца он мне остался должен 40 000 сер. Я уехал за границу, оставив этот долг за ним. Умирая, он завещал, чтобы мне первому было уплачено, потому что официально я не мог ничего требовать. Вслед за вестью о его кончине я по следующей почте получил все деньги. (Прим, А. И. Герцена.).

124 все! (англ.).

125 в личность абсолютного духа (нем.).

126 задней мыслью (франц.).

127 История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить. На одном из этих праздников – один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было начертано золотыми буквами: "Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа...", и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное

Былое и думы (Часть 4). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru  
имя государя императора.

Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастье не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончить курс и приехать к ней. Начальник лицея, кажется, генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дела до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, то есть ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат, – и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости божией, убившей вовремя его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете. (Прим. А. И. Герцена.).

128 "прекрасный вид" (от франц. belle vue).

129 дачная жизнь (итал.).

130 откровенность (франц.).

131 выход (франц.).

132 мнимый (лат).

133 путешественник (англ.).

134 счастливого пути (франц.).

135 от места к месту (нем.).

136 общину (нем).

137 актовом зале (от лат. Aula).

138 Пришел конец великому русскому университету (нем.).

139 "чудаком" (от нем. Sonderting).

140 "Былое и думы", т. 1, стр. 190. (Прим. А. И. Герцена.).

141 нравов (лат.).

142 в целом (франц.).

143 домашнем кругу (франц.).

144 избирательного (от франц. electoral).

145 стеснялись (от франц. se gener).

146 равными – дружба (лат.).

147 неравный брак (франц.).

148 сожительница; букв.: маленькая жена (франц.).

149 чтобы иметь хороший обед (франц.).

150 от стола и ложа (лат.).

151 Ни у пролетария, ни у крестьян нет между мужем и женой двух разных образований, а есть тяжелое равенство перед работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены. (Прим. А. И. Герцена.).

152 чей хлеб ешь, того песню поешь (нем.).

- 153 злобы (франц.).  
154 принца-супруга (франц.).  
155 лавочника (франц.).  
156 отражения (от франц. Reverberation).  
157 обидчива (от франц. susceptible).  
158 Спокойствие!., спокойствие! (нем.).  
159 книги имеют свою судьбу! (лат.).  
160 стремлениях (от франц. veiverte).  
161 на буксире (франц.).  
162 кружка (от франц. coterie).  
163 Мой ученый друг (англ.).  
164 кладбище (итал.)  
165 для себя (нем.).  
166 в себе (нем.).  
167 Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы (франц.).  
168 девяносто третьего гола! (франц.).  
169 в жемчугах и брильянтах (нем.).  
170 теоретического наслаждения (нем.).  
171 Нравственность (нем.).  
172 совершившийся факт (франц.).  
173 обрученных (итал.).  
174 часы бьют каждую четверть, Один, два, три... (искаж. итал.).  
175 но... (итал.).  
176 собственной персоной (лат.).  
177 поверенного (от англ, solicitor).  
178 и если вы хотите ссориться (франц.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!